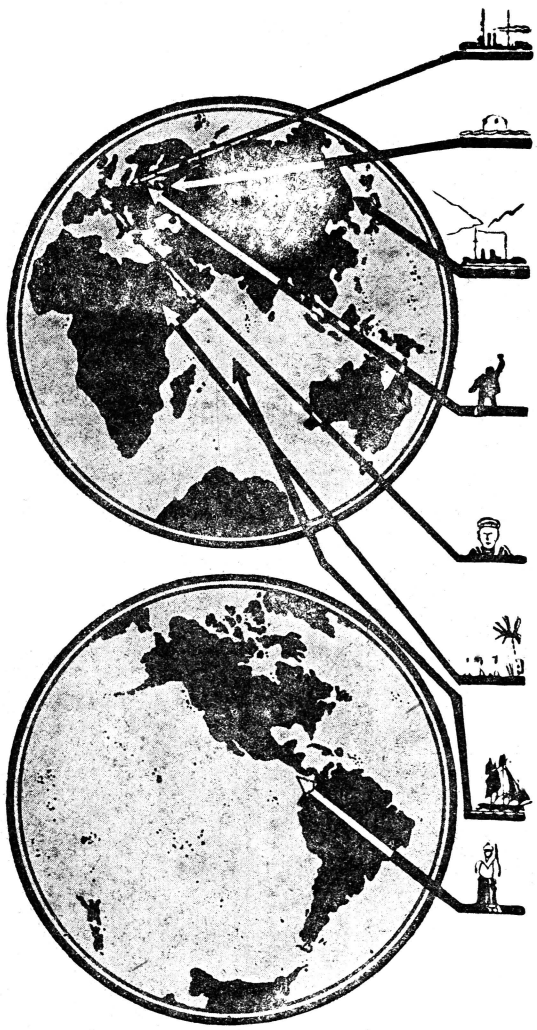
Борьба Миров
„Молодая Гвардия"
„Долой фабком!"

Борьба Миров

СОДЕРЖАНИЕ АВГУСТОВСКОЙ КНИЖКИ



МОКРЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК — из романа *Т. Оливиера*, стр. 37.

МИНА—рассказ *А. Тарпана*, стр. 2.

ИНТЕРВЬЮ ПО РАДИО— из воспоминаний *М. Поляновского*, стр. 24.

ДОЛОЙ ФАБКОМ— рассказ *Л. Рубинштейна*, стр. 13.

СКВОЗЬ ФАШИСТСКУЮ ЕВРОПУ - - очерк *Скайфа*, стр. 49.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ — из отчета *Ж. Кесселя*, стр. 58.

ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕАНЕ — рассказ *Ст. Ликока*, стр. 69.

ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО — очерк *П. Лопатина*, стр. 79.

Главлит № А 74213 Ответств. ред. С. КЭМРАД Тир. 50000

Типография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК"

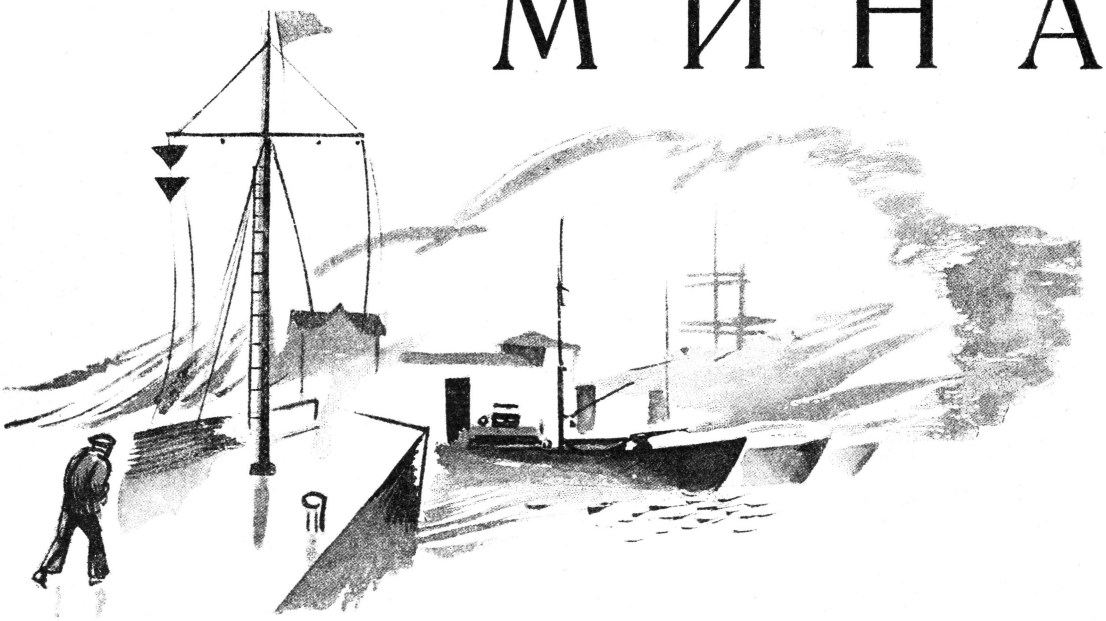
Борьба Миров

ЕЖЕМЕСЯЧНИК РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОМАНТИКИ, НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

№ 8 АВГУСТ 1930

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ „СМЕНА“

МИНА



Рассказ А. ТАРПАНА *Иллюстрации В. ГОЛИЦИНА*

Соревнование и ударничество — свежие темы в литературе — дают неисчерпаемый материал для показа новых темпов и условий работы и быта на предприятии. «Мина» А. Тарпана — первый рассказ на тему об ударничестве в Красном флоте. На фоне эпизода с миной автор показывает повседневную жизнь краснофлотцев и убедительно доказывает, как важна внутреняя спайка коллектива. Ее иногда колеблют личные конфликты, но перед лицом общей опасности, общего дела все личное отметается.

МЕНЯЯ направление с зюйда на зюйд-вест, всю ночь дул ветер, достигая силы в десять баллов. А к утру берег скрылся в столбах горячей пыли.

На рейде стало тесно от пароходов. Все расписания нарушены, выйти в море никто не рисковал, — на сигнальной мачте продолжали болтаться штормовые значки, черные треугольники с опущенной вниз вершиной.

Тральщики прижались к стенке, с кормы швартовы протянули, с носу якоря забросили. Так надежнее. Дивизиону дали отдых — подчиститься, набраться сил к маневрам. Краснофлотцы рассчитывали: недели две простоим. Механик размечтался: «машину успею перечистить». Рулевой Авдоткин румпелем занялся, что-то не ладилось на шлюпке. У минеров свои заботы — тралы проверить, подремонтировать,—крепок стальной трос и то перетирается.

Минер Васильев обмахнул лицо рукавом голландки и крикнул, указывая на трал:

— Удочка готова, акула выдержит!

Второй минер Гришин собирался ответить, раскрыл широко рот и поперхнулся. Ветер продолжал дуть, засыпая глаза и рот песком, от пыли дышать трудно, в ушах звонки тревожные.

— Вот треклятая юга! С ног валит!— наконец выпалил Гришин, отплевывая грязные сгустки:—На Авдоткина взгляни, совсем чудак запарился!

Васильев взглянул исподлобья, рукой взмахнул:

— Да ну его!

— В чем дело? Значит, расплевались? Вот так дружки-ударники! Что за причина? А ну-ка расскажи!

— После как-нибудь, дело длинное.— Васильев порывисто рванул трос, будто пробуя его крепость. — Расплевались из-за Маруськи...

— Из-за Маруськи? Ну, братишечки, не без того, что чимер вам в головы обоим стукнул. Значит, по боку теперь ударную бригаду?

— Да нет, как можно такое дело из-за бабы провалить?

После обеда Васильев рассказывал Гришину подробности, рассказывал и удивлялся. Для него самого ссора явилась неожиданной, как майский снег. Что толкнуло на ссору, почему он первый ее начал?

— Шел я с Маруськой по Карантинной, вечером, думал: «какого тут лешего можно встретить?» Потому и вольность в некотором роде допустил. И не заметил, что сзади долговязая Афоня догоняет. Догнал на самом интересном месте и уходить не собирается. Я его толкнул легонечко, — не понимает. Тогда прямо говорю: «Пошел бы куда-нибудь подальше, а тут тебе делать нечего». А Маруська сразу вспухла, как кошка от нашатырного спирта, и давай меня костить: «Что это, говорит, за диктатура? К тебе он подошел, что ли? Пожалуйста, здесь без командирства, мы с тобой не расписывались! А будешь пыхать, говорит, то прошу прощения — без вас, говорит, обойдемся». И такую мне тень на сердце напустила, что чуть не упал я с досады. Ударить, думаю, или воздержаться? Решил воздержаться, а теперь вот тоска...

— В чем дело? — побагровел Гришин. — Ты же не узнал причины у Афони, а сам уже нацелил, как паук на муху. Хочешь, я спрошу?

— Ты лучше не мешайся, дай перебродить...

— Не хочешь, как хочешь, а я все-таки схожу, поговорю! — и Гришин потопал вверх по трапу, ловко прыгая через ступеньки, даже не придерживаясь за поручни. Но не прошло и пяти минут, как он снова влетел в кубрик с криком:

— Прощай тоска! Снова поход об'явлен!

Васильев сидел понуро в углу кубрика, углубленный в думы, далекие от корабельной действительности. От неожиданности он вздрогнул, даже заикаться начал:

— Как-кой поход?

— Такой, обыкновенный! — Гришин пыхтел, от быстрого бега. — Пришел пароход «Пестель», капитан сообщил, что встретил в море мину. Хорошо, если одна, а может, там их несчолько. Придется снова тралить, завтра отправляемся...

Сведения оказались правильными. Шторм нарушил все планы отдыха. Тральщики быстро изготовились и с рассветом оставили рейд.

Внизу обезлюдело, остались вахтенные кочегары да машинисты, остальные наверху—кто в зюйдвестках, кто с открытой грудью. С мостика и верхней палубы сигнальщики ловили глазом, не покажется ли где мина. Тральщики ныряли между гребнями волн, краснофлотцы изредка перебрасывались скупыми фразами.

Васильев работу выполнял механически, а в голове бурей проносились мысли, уже старые, надоевшие, все о том же случае с Авдоткиным. Но чем дальше от порта, тем больше стирались острые углы, и тогда Васильев начинал терзаться:

— По мне бы ее под колпак поставить, чтобы никто не подходил. Да разве допустимо с женщиной такое обращение? Живой ведь человек, свободный!

— Вон она, собачья голова!—радостно захлебнулся Гришин, не отрывая рук от леера, протянутого для безопасности вдоль борта.

— Поскуда, и больше ничего! — крикнул ему в тон Васильев и неизвестно было, к кому это относилось.

Гришин взглянул на него, поднял густые брови, удивился:

— В чем дело? Ты разве не видишь?

— Да не об этом я думал... — Васильев отвел глаза в сторону.

Тральщик начал описывать круги, содрогаясь от бортовой качки. Невдалеке, на гребне зеленой волны, лениво качнулся темный шар, облепленный блестящими

ракушками. Качнулся раз, другой и вдруг запрыгал, затанцовал, извиваясь, как собака на цепи при виде своего врага. Ближе подходить было опасно, и корабль отошел в сторону от грозного соседа.

— Шлюпка! Гребцы! Минер! Патрон!— подали команду с мостика.

Подгоняемая крепкими ударами весел, шлюпка ринулась к чудовищу, продолжавшему свою меланхолическую пляску в такт набегавшим волнам.

— Еще раз, раз, стоп! — Авдоткин переложил руля и по старой привычке взглянул на Васильева, который крепил патрон к ударнику мины, вытянул руки через борт шлюпки:

— Фитиль! Навались, товарищи! — крикнул Васильев, не оборачиваясь.

Шлюпка рванула в сторону и не напрасно. Прошло не больше трех минут, и страшный гул потряс воздух. На месте взрыва вырос столб воды, пропитанный дымом, осколками и случайно захваченной рыбой. Столб взбух, перешагнул расстояние, рассыпался валами и толкнул шлюпку так, что на некоторое время она потеряла способность управляться и запрыгала по волнам кузнечиком. Проходивший невдалеке буксир после взрыва мины остановился, как бы раздумывая: «стоит ли рисковать?» Потоптался на одном месте и решительно лег на обратный курс, молча, даже без сирены, будто не желая обнаружить своего присутствия.

Ветром сдуло дым и все страхи. Жизнь входила в норму, казалась будничной, обыденной, а движение ее бесконечным, потому что все кругом двигалось: и корабль, и волны, и облака. Мир привлекал сменой впечатлений, суетой, прыжками, взрывами, борьбой против худшего, надеждой на лучшее. А лучшее в самом себе, — лучше худо сидеть на мачте, чем красиво с нее свалиться.

Быстро падали сумерки, возвещая конец трудового дня. Тральщики взяли курс на Люстдорф. Отданы якоря. Отдых необходим и людям, и машинам, чтобы с рассветом возобновить борьбу со смертью. Некоторые моряки еще не натралились и вздыхали о береговых развлечениях, но вздохи, как дым,—дунул ветер аврала, и корабль снова превратился в муравейник: нужно тралы проверить, запас воды пополнить, уголь погрузить с баржи, здесь не попляшешь. Держись покрепче, чтобы не сорваться, корабль сам пляшет, как баскетбольный мяч в руках опытного спортсмена.

Ближе к полуночи пустеет палуба. Лишь вахтенные маячат на своих местах, да глухо ворчат морские волны, будто поют погребальную песню расстрелянной мине.

Незаметно проходит короткая летняя ночь, и снова наступает день, а с ним опасность в любую минуту взлететь на воздух от шальной мины, неизвестно из каких недр вывороченной штормом.

***

Рассчитывали с утра выйти в море, но расчеты не оправдались. Пришлось сутки потерять в ожидании, пока немного стихнет шторм.

Свободные от наряда собрались в кубрике — немного пообсохнуть и поразвлечься. Один краснофлотец книжку вытащил, водил пальцем по строчкам и шевелил губами, поминутно разражаясь смехом. Большинство сгрудилось возле механика и слушало рассказ о войне, которую он провел, плавая матросом, на Балтике. Посасывая трубку, механик спокойно цедил сквозь зубы:

— Пробрались как-то немцы в Финский залив и поставили мины. Ну, нашему дивизиону сразу же приказ: выйти в море и определить границы заграждения. Готовность боевая, вышли, идем по положению. Волны хлещут выше мостика, ветер ведрами бросает в лицо влажность. Одним словом — баня, только холодная...

...У опасного района поставили трал и легли на первый галс. Как вдруг тарарахнуло, и пошло писать. Над первым тральщиком столб воды и дыма, форменный чертополох. Фок-мачту сорвало, изломало вдрызг. Вода вздулась зеленым пузырем, и огромная воронка поглотила все без остатка. Но, скрываясь под водой, корабль потянул за собою трал, конец которого был закреплен на втором тральщике. Экипаж у нас вышколенный,

На месте взрыва столб воды, пропитанный дымом.

сразу на ют, к тралу... Перерубить бы только, и спасены. Ждем команды, а командир со страху окаменел, молчит, как зарезанный гусь. Ну, конечно, брякнуло под кормой, в воздух полетела грот-мачта, тральщик заскрипел шпангоутами и нырнул вглубь, вслед за товарищем. Я как-то успел выброситься за борт и два часа плавал в сентябрьской воде, пока не подобрали на миноносец, а другие...

Механик поперхнулся, закашлялся и замолчал. Замолчали и краснофлотцы. Стерлись смех и шутки, постоянные спутники моряка. Исчез кубрик, развернулась жуткая картина: едкий дым и пар затянули поверхность моря, скрыли от глаз ужас смерти, а он настойчиво лезет в уши, взрываясь звериным воем безумия. Люди, еще не потерявшие сознания, кричат, молят о помощи, как-будто криком можно приблизить спасение... Были два тральщика с сотней веселых матросов, до взрыва не думавших о смерти. А после — горсть людей плавала в тумане, с надеждой на спасение. Люди жадно цеплялись за жизнь, не замечая или не желая знать, что рядом с ними смерть, слепая, ехидная и никому не нужная, кроме гробовщиков. Новый взрыв мины, и все исчезло, ушло в морскую бездну, в небытие. Остались зеленые волны да плесень водорослей, выброшенных взрывом на поверхность.

Гришин ворвался в кубрик вместе с дождем и сыростью, которыми дышала вся его обмундировка, поймал на лету последнюю фразу механика, промолчал несколько секунд, сам удивляясь общему молчанию, развел руками:

— В чем дело? Какая разница?

Плотина была прорвана, забурлил кубрик, смешал жизнь со смертью, и получилась снова привычная обстановка ремонта, походов и камбузных интересов. Кто-то в углу заревел хриплой сиреной, пародируя «Стеньку Разина»:

Что, матросы, приумолкли?
Эй, Авдоткин, друг, спляши!..

Гришин предложил устроить вечер самодеятельности. Желающих нашлось достаточно. Быстро установили порядок: первым номером идет «викторина» в таком, примерно, виде: кто-либо из играющих задает вопрос, другие по очереди отвечают. А тут еще политрук пообещал:

— За правильные ответы буду выдавать папиросы.

Начали горячо, пока не споткнулись на вопросе: какой мастер является мастером на все руки? Гришин засопел натужливо, словно пытался пушку с места

сдвинуть, и по обыкновению загорячился:

— В чем дело? Это тот, кто языком работает!..

— Нет, товарищ! Не все любят заниматься болтологией, есть люди серьезные. А тут нужно, чтобы на все руки, что называется, и по-настоящему работать:

— Давай считать по пальцам, хотя бы среди нас...

— Да не спорь, не угадал и точка.

Двое отговорились незнанием, и очередь подошла к Васильеву.

— Не может быть, чтобы один человек, — протянул он неопределенно, сам неуверенный в своей правоте. — Один не может за всех справиться. К примеру, доктор может быть сапожником, но чтобы еще инженером и по всем морским специальностям, так это слабо!.. гайку потеряет.

Авдоткин вдруг вырвался:

— По-моему есть такие, я даже знаю!

— А знаешь, так скажи, — Васильев ворчливо покосился в сторону Авдоткина, — тут нужно по знаниям говорить. Не то что до девок, с голым носом...

— А тебе что, мой нос не нравится? Так девки на этот счет другого мнения, могу документально доказать!..

— Свинство свое докажешь!

У Васильева от злости глаза в колючки превратились, а сжатые кулаки показывали, что близка граница, когда они могут быть пущены в ход. Он глядел на Авдоткина, а видел Маруську, злился, что не может говорить спокойно, и путался в противоречиях, раздиравших ему мозг: «кто из них виноват больше? Если Маруська сама подстроила, тогда...»

— Товарищи, довольно стыдно срывать игру своими счетами! Нужно считаться с коллективом! — тут политрук заговорил еще более решительно: — Авдоткин хотел ответить вне очереди. Давайте продолжать.

— Я хотел ответить, мне помешали. По-моему, на все руки мастером будет фокусник, я видал в цирке.

Кругом зашумели, загоготали:

— Хотел на шарманку папирос заиметь! Нет, браток, осина не родит апельсина! Сыграй обратным курсом!

— Попал Опанас в рыбий глаз!

— Из блохи верблюда сделал!

Больше всех хохотал Васильев, пересыпая смех злобными выкриками:

— Га-га-га!.. Из таракана голенище скроил... Го-го!.. Летчик-переплетчик... Га-га!.. Мозгой бы крепче шевельнул, в кисель бы не садился...

У Авдоткина лицо побагровело от прилива крови, и он не удержался, крикнул:

— Подумаешь, какой авторитет! Давно ли на корове верхом ездил, уже себя профессором считает... Ты докажи сначала!..

От спора до ссоры всегда языком достать можно, но политрук постарался успокоить бушующие страсти:

— Спокойнее, товарищи, я сам отвечу! Такой мастер называется перчаточник.

Ответ был встречен новым взрывом хохота. Гришин рассматривал свои руки, то поднимая их на уровень глаз, то поворачивая ладонь во все стороны, будто удивляясь: как это он не додумался до такого простого обстоятельства? Посыпались новые вопросы. Каждый старался что-либо придумать. Гришин спросил:

— Отчего охотник зайца ищет?

И так как охотников среди играющих не оказалось, то сам же ответил:

— Оттого, что не знает, где косой лежит.

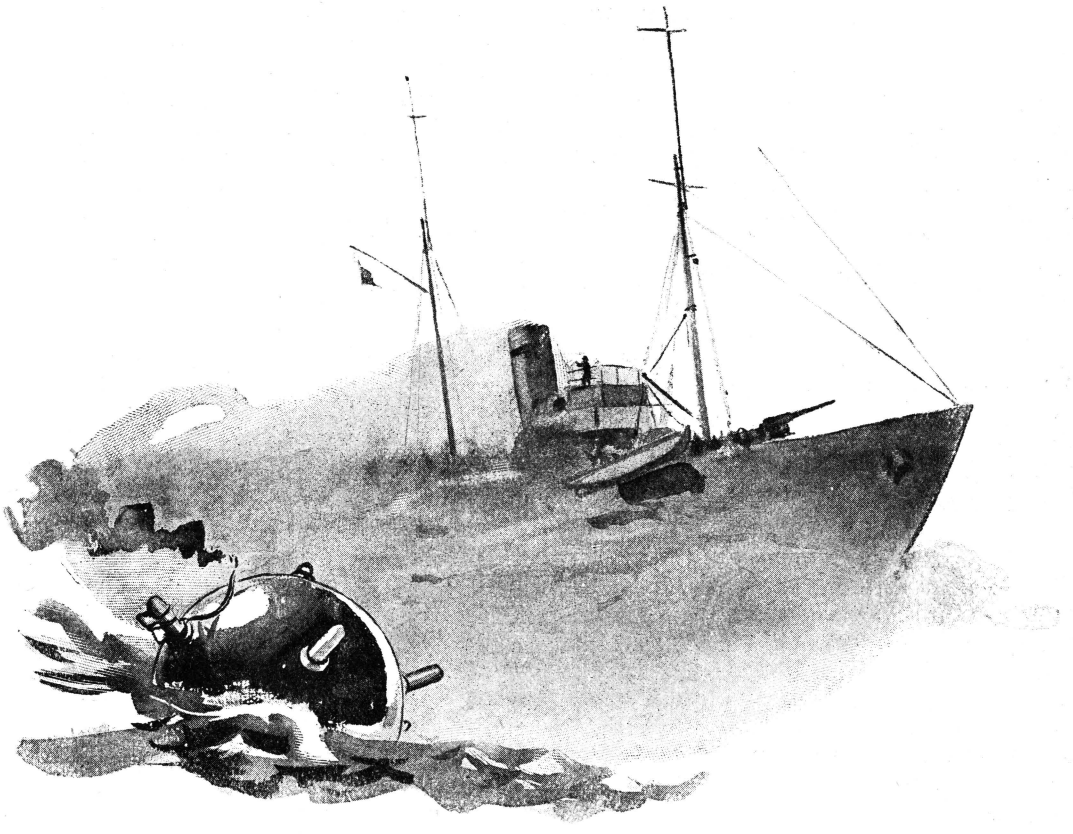
Хлопая по плечу Авдоткина, Гришин оглушал его хохотом, зажимал кулак, оттопыривая большой палец:

— Во, вопросик! Румпелем не провернешь!

Игра так увлекла, что переплеснулась в шкиперский склад, на мостик, к сигнальщикам и на камбуз. Расписывая чумичкой в воздухе, кок развлекался со своим помощником:

— А ты, Васька, скажи: почему кошки не любят миноносца? — кок усмехнулся, заранее торжествуя победу.

— Почему? Могу сказать, — помощник усердно искал причину кошачьей неприязни к миноносцу, почесывал в разных местах свои обветренные брюки и торопливо чмыхал носом, — могу сказать, почему — плевое дело ответить! Потому не любят, что боятся крыс. Один



Скрываясь в водяных провалах, болтался лысый череп мины.

в поле не воин, а их тысячи, вот поэтому и вообще...

— Крыс, кры-ы-с... Сам ты крыса, вот поэтому! Зарос щетиной, подумать даже лень. Тебе бы двойную порцию, вот это да! Чвак да вяк, вот этак да так...

— При чем здесь специальность? Задал вопрос—должен пояснить неправильность ответа, а ты сразу в оборт берешь по службе! — помощник засопел и нахмурился, отворачиваясь в угол камбуза.

Молчание длилось не более пяти минут, потом коку стало скучно, и он снова начал:

— Ты, Вася, не обижайся на мою амбицию! Может, надоело мне копаться в каше и задал я для игры вопрос, а ты в пузыря. Пыхти не пыхти, а у кошки своя политика, не любит она электричества, вот каковой факт. А на миноносце кругом железо для его притяжения. Куда кошка ни бросится, под лапками у нее— щип, щип... попрыгает, попрыгает, с тем и ушивается. И о крысах ты напрасно— оно вполне морское животное, не похуже тебя на счет воды. Был я молодым еще, стоял ночную вахту, собачкой у нас называлась, так вот случай...

Кок надулся, как парус под ветром, и многозначительно подмигнул:

— Вот это да, действительно!.. Стою я у трапа, гляжу на луну. А она прямо, как живая, повисла на грот-мачте, язык лопатой вывалила. Вдруг слышу, как залопочет под бортом, как плюхнет да как взвизгнет! Дело прошлое, а только на волоске держался, чуть-чуть позором себя не заклеймил. После оправился, сунул за борт голову, глаза вот-вот лопнут с натуги, а ни хрена не видно— только всего кипит вода, фонтаны разворачивает. Подумал: тонет какой-нибудь

курносый спец, что плавать еще не научился. Да как заору по уставу: «человек за бортом!» Стою и кричу, прямо запарился. Схватил спасательный, это значит, круг, швырнул за борт, а сам к рынде. Дергаюсь, как свежий судак, тревогу создаю. Прибежали, начали спасать, а там вместо человека... крысы. Ну что ты им скажешь?

— Да что, у каждого существа свой политпросвет...

***

Тральщики оставили рейд. Шторма уже не было, но зыбь стояла порядочная. Больше всего досталось минерам и гребцам на шлюпках. Непромокайки и зюйдвестки мало спасали от дождя брызг, обильно бросаемых волнами.

Мертвая зыбь — тот же шторм, но без ветра. Странно бывает смотреть — вверху ни одного облачка, в воздухе штиль, нарушаемый только движением судна. А волны прыгают выше полубака, и корабль то-и-дело кренится на борт, содрогаясь от ударов водяной стихии.

Тральщик шел правым галсом, когда сигнальщик вдруг предупредил:

— Мина с под ветра!

— Где? Где? — крикнули с юта.

Десяток голов вытянулся по направлению руки сигнальщика. С напряженной жадностью глаза сверлили горизонт, поминутно закрываемый водяными глыбами. Гришин вскочил на кнехт, побалансировал, стараясь не сорваться, и крикнул, указывая влево:

— Ого-го! Вон она, голубушка! Теперь не увернется.

Вгляделись, обнаружили. Скрываясь поминутно в водяных провалах, вдалеке болтался лысый череп мины, обсаженной ракушками, как старый пень грибами. Тральщик застопорил ход и догоняемая серыми зайчиками, запрыгала по гребням волн шлюпка. Ее порой заливало, и требовалось исключительное умение рулевого, чтобы успешно лавировать между гребнями. На этой работе Авдоткин незаменим. Его крепкая фигура слилась с румпелем, шлюпка кренилась на борт, вот-вот вода внутрь хлынет. Но один нажим руки, умелый поворот выправлял положение, и она снова дыбилась, подставляя волнам крепкие шпангоуты.

Пока Васильев крепил патрон и зажигал конец длинного шнура, Авдоткин прямо держал руль, затем повернул почти на четыре румба и направил шлюпку навстречу тральщику. Подгоняемый ветром корабль дрейфовал с застопоренными машинами. Расстояние между шлюпкой и кораблем быстро сокращалось.

— Все на тали шестерки! — крикнул боцман, блуждая по палубе перекошенным от природы глазом.

И когда шлюпка повисла на шлюпбалках, командир повернул ручку машинного телеграфа на сигнал «малый вперед». Из трубы повалил густой дым, машина несколько раз всхлипнула, но тральщик продолжал дрейфовать. Уже простым глазом было видно, как лениво ворочался темный шар, будто пытаясь неуклюжими движениями освободиться от ненавистного шнура. Шнур продолжал дымиться, огонек все ближе подбирался к патрону. Командир бросился к переговорной трубе, и в его голосе скользнули нотки беспокойства:

— В машине! Почему задержка? Дайте малый вперед!

— В цилиндре вода... хода нельзя дать, — прохрипела в ответ труба, и как бы в подтверждение сказанного, машина всхлипнула еще раз и замолчала, вовсе не подавая признаков жизни.

Расстояние между кораблем и миной уменьшилось до половины кабельтова. Краснофлотцы поняли — надвигается момент взрыва, тральщику грозит гибель. Несколько человек бросилось к борту и с перекошенными лицами, словно в столбняке, следили за вьющимся над миной дымком. Один не выдержал, крикнул:

— Беда! Надо уходить! Сейчас взорвет...

Кривой глаз боцмана подпрыгнул, как резиновый мяч, и нацелился в ближайшего краснофлотца, словно хотел сказать: «Попробуй только взорваться, я тебя мигом припечатаю!» Появление боцмана у борта, сопровождаемое хриплым словоизвержением, пересыпанным свирепыми ругательствами, остановило разговоры, но не внесло успокоения. Назревала паника

Взгляды обратились в сторону командира, но он стоял на мостике спокойный, заложив руки в карманы широких брюк, будто не замечая общего возбуждения. Травленый морской волк прекрасно понимал, что паника страшнее взрыва. Нервы в пучок собраны, порохом проложены, и человек, как ракета. Личность стирается, выросло общее, коллективное. Каждый человек, как радиоприемник, ловит чутко звуки, заражаясь действиями окружающих. В такие минуты смелость и рассудок владеют организацией. Дрогни хоть один мускул на лице у командира, и это примут за чувство страха. Тогда людей не остановишь... Старый моряк крепче сжимал зубы, чтобы не выдать своего беспокойства. А мысль не подчинялась, разламывала все преграды и беспокоилась: что раньше удастся сделать? Спустить снова шлюпку, сорвать патрон или продуть цилиндры и дать ход машине? Что тяжелее в случае неудачи — потерять шлюпку с тремя смельчаками или корабль со всем экипажем? Знал командир, что каждая секунда на счету. И как бы отвечая на немые взгляды, было отдано уверенное приказание:

— Все по местам! Добровольцы, на шлюпку! Снять патрон с мины!

Авдоткин побледнел, взглянул на Гришина и быстро прыгнул в шлюпку, продолжавшую еще качаться на шлюпбалках.

— Ударники! — крикнул он, оборачиваясь. Но приглашение излишне: бригада не собиралась отступать перед опасностью. Гришин себе не изменил, и его ответ звучал обычно жизнерадостно:

— В чем дело? Какая разница!

За ними молча шагнул Васильев. В глазах нет страха, но беспокойство — успеть бы во-время добраться к мине, а остальное — механика опыта. Пружинятся мускулы гребцов, явственно дымится шнур на мине. Кто раньше?

— Братишечки, покрепче вдарьте! От вас больше зависит, чем от меня! — крикнул Авдоткин, хватаясь за румпель.

Васильев угрюмо буркнул, не подымая головы:

— Сами знаем, не к бабе в гости ладимся... И нечего под руку горячить!

Потемневшая от злости волна подхватила, подбросила шлюпку, будто предупреждая смельчаков об опасности. Скрипели весла в уключинах и чертили воздух, попадая в провалы. Вторая волна столкнулась с третьей, бродячей, и рассыпалась букетом водяных колосьев. Шлюпка ныряла, лавировала, взбиралась на бугры. Требовались особенная ловкость и хладнокровие, чтобы не опрокинуться.

И не напрасно говорил Васильев о горячности. Его взбудораженная мысль полетела по кривым переулкам Цыганской слободки и уперлась в низенький домик, где проживала Маруська.

— У-у... зар-раза!..

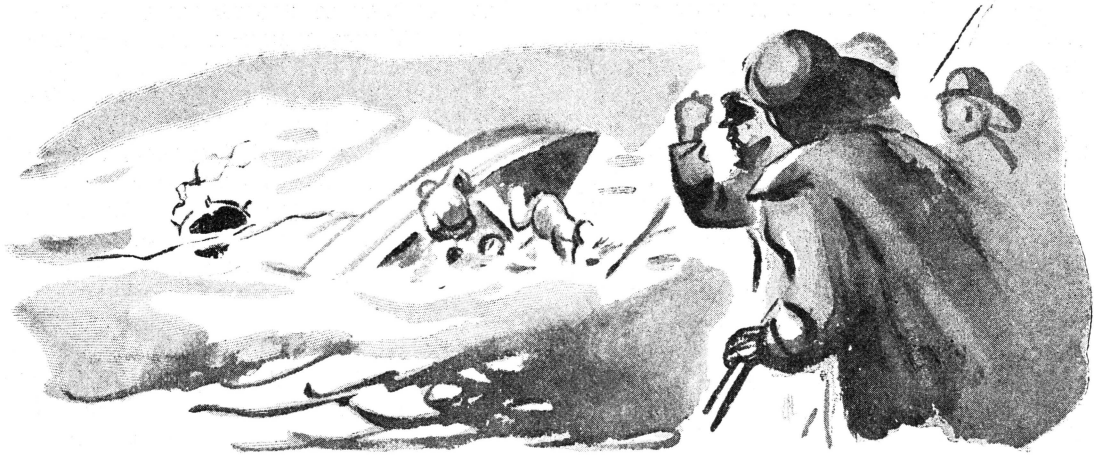
К кому относилось это определение, Васильев не смог бы ответить, но его кулаки сами собой сжались и нарушили ритм движения. Весло подвернулось и хрястнуло, Авдоткин упустил момент, волна хватила через борт, вторая довершила начатое и перевернула шлюпку.

На тральщике следили за ходом шлюпки с таким напряжением, словно все люди превратились в секундомеры. И когда шлюпка перевернулась, в первое время никто даже не вскрикнул, а как бы по сигналу многие бросились одевать спасательные пояса. Стало ясно: надежда рушится и выхода нет — взрыв мины не удастся предотвратить.

Сигнальщик Водянкин схватил круг и побежал с мостика к трапу, на ходу раздумывая: бросить в море ударникам или на себя одеть, на всякий случай? Взглянул на командира, остановился... Взглянул в сторону мины: вон она качается... сделал два шага, взглядом растерянным окинул горизонт, будто в поисках спасительного выхода... Вдали дымили другие тральщики, протянув из труб к горизонту темные космы. Вблизи дымился шнур на мине, доживающей последние минуты своего существования.

— Все по местам! Спокойно! Минеры пошли к мине вплавь! — командирский рупор особенно радостно грохотал, передавая это сообщение.

Настроение сразу изменилось. Все заговорили одновременно, захлебываясь, перебивая друг друга:



Волна хватила через борт и перевернула шлюпку

— В самделе плывут?.. Ать, чума!

— Левей, левей гляди! Вон они!

Шлюпка отсвечивала мокрым килем, людей не было видно. Но вот на гребне волны взметнулась одна точка, за ней другая, третья. Сверху казалось, что черные бакланы, широко разбросав крылья, парят над морем, задевая гребни волн, то отставая, то обгоняя друг друга в погоне за серебряной камсой, в страхе убегающей от преследования. Мину заслонил человек, и она не казалась уже такой страшной, хотя продолжала попрежнему дымиться.

— Плывут, и ни гвоздя! Васька, гляди! — захлебнулся от радости кок, продираясь в дверь камбуза.

— Вот это да, ударники! — подмигнул в ответ его помощник, Васька.

Изменилось настроение, но не обстановка.

***

Ожог холода скользнул по телу, будто крапивой полоснули. Не знает человек причины или не видит, но чувствует — жжет невыносимо. Волны подбрасывали, тянули, всасывали, но Авдоткин в воде, как молодой дельфин. И все же растерялся на мгновение: где товарищи? Вблизи никого, а дальше — вода и горизонт, исковерканные мертвой зыбью. Мысли прыгали, сшибались, колотились в такт взволнованному сердцу. От первой мысли след остался: «Сейчас взровется мина и все полетит к чорту»...

Но встречной мыслью было смято малодушие. Чем больше колотились волны, тем размереннее действовал Авдоткин, оценивая взглядом положение: «Можно на шлюпке продержаться, пока поспеет помощь»... И тут же, рядышком, сомнение: «После взрыва помощь будет бесполезной»...

Новая волна скрыла горизонт, в глазах потемнело от напряжения. Ясно представилось: вот догорает шнур, один момент, и... Темнота захлестнула, рванула и выбросила на гребень. Горячая волна будто кипятком ошпарила, невозможно выдержать без крика. И следом — ледяная, конвейером. Авдоткин видит корабль и видит мину. Они медленно сближаются, как заклятые враги, для решения вопроса о жизни или смерти. Он угадывает решение и потому чувствует то холод, то жар попеременно. Он в волнах видит смерть.

Смерть? Слово новое, о нем Авдоткин раньше не вспоминал, сейчас оно само напомнило. Вот она колышется, равнодушная к живому, и взрывает мир, чтобы уничтожить жизнь. Люди ее боятся, стараются трусливо обойти, перехитрить, а она, слепая и не всегда закономерная, творит свою волю, издеваясь над радостями жизни, которых не знает и не понимает.

А люди знают, Авдоткин тоже знает: мина—это смерть. Ее холодок постепенно опутывает ноги, взбираясь все выше по суставам, как по ступенькам лестницы. А навстречу снова горячая волна кипятком обжигает, и это — жизнь. Кто победит в борьбе, тот будет властвовать.

Авдоткин развернулся, загреб воду и качнулся с одного гребня на другой. А рядом, на третьем гребне, дымился шнур, и тлеющий огонек медленно подбирался к запальному патрону. Ударом ноги об ногу Авдоткин освободился от ботинок. Стало легче плыть.

— Мы теперь поспорим! — выкрикнул он в переплет из зеленых волн и голубого неба, как-будто кто-нибудь мог его слышать. Но вблизи никого. Гришин и Васильев скрылись и даже приблизительно нельзя определить, где они находятся.

Обмундировка мешала плыть и пошла вслед за ботинками. Авдоткин освобождался на ходу — сбросил плащ, бушлат, стало совсем свободно плыть. Легко вздохнул, еще легче поднялся на гребень осмотреться. Мина близко — вот она! Но путь затрудняют волны, ежесекундно отбрасывая пловца то взад, то в сторону.

Авдоткин крепко выругался, когда шальная волна в третий раз отбросила его на два метра вправо от курса. После спохватился:

— Что-ж это я? Не смог сообразить!.. Надо на фордевинд, волна накатом донесет.

Выгребая сильно руками, чтобы встать на курс по ветру, он вдруг услышал отчаянный крик, почти рядом. Подняв голову, Авдоткин столкнулся с гривой седого гребня и ничего не увидел, но зато услышал еще более явственно призыв о помощи:

— Тону! Тон-о-ну!! Спа-а-си-и-те!..

С бешеной силой Авдоткин рванул на крик и вместе с волной свалился на Васильева. Камнем булькнул в воду крик и замер... У Васильева вместо глаз — ржавые гайки, лицо зеленовато-желтое, под цвет волны. Увидев Авдоткина, он смутился и замолчал, продолжая кружиться почти на одном месте, как-то боком переваливаясь слева направо, будто неведомая сила тянула его вглубь, а он отчаянно сопротивлялся.

— Чего ты? — схватил его Авдоткин за ворот бушлата: — Закрой рот, дыши носом!.. Захлебнешься!

— Тянет... нога... обмундировка... — забулькал Васильев и спохватился: — Брось, брось! Плыви к мине!.. Взрыв...

Что делать? Бросить товарища — утонет. Отбуксировать к шлюпке, спасти его и потерять время — взрыв уничтожит корабль со всей командой. Судорожно металась мысль в поисках выхода, оставались минуты для размышления. Казалось, все потеряно из-за непредвиденной задержки. Авдоткин чувствует в груди смертельный холодок сомнения, но вид корабля ему напомнил: там живут надеждой на ударников. Снова горячая волна нахлынула, жажда жизни расплавила сомнения:

— Держись! Загребай левой, я буду помогать! — крикнул он в ухо Васильеву! — Тут три метра к мине!

Переплелись руками, плыли медленно, ворочая белками глаз, сжимая зубы от напряжения. Мина качалась рядом, спокойно шевеля тупыми шипами, и на одном из них догорал фитиль патрона. Васильев увидел и взмолился:

— Да брось меня! Сорви патрон с ударника!

Как минер, Васильев сразу определил: еще один момент, фитиль догорит — и тогда смерть неминуема.

— Полундра! — крикнул он отчаянно и свободной рукой тукнул Авдоткина по голове: — Гляди! Патрон! Прыгай!

Авдоткин отпустил руки и прыгнул на черный шар, но отброшенный волной свалился в воду, не успев сорвать фитиль. Вторая попытка закончилась таким же результатом — шар стремительно рванулo в сторону, руку царапнуло чем-то острым, и она бессильно шлепнулась в воду, окрашивая ее красными полосками крови.

Васильев держался рядом с миной, не имея силы помочь товарищу. Авдоткин протянул ему окровавленную руку, взвыл смертельным стоном:

— Прости, если что!..

И закрыл глаза, в ожидании взрыва, не выпуская руки товарища. Мысленно начал считать: раз, два, три... Но взрыва не было. Гулко хлестали волны и временами похоже было — где-то вдали оркестр играет похоронный марш, но звуки срываются и только ухает турецкий барабан:

— Бух, ух! Бух, ух!..

Открыл глаза Авдоткин и вскрикнул, изумленный:

— Патрон! Где патрон?

Черный шар мины качался рядом, а над шаром блестело неподдельной радостью круглое лицо Гришина, красное от натуги и возбуждения. Обхватив мину сильными руками, Гришин тяжело дышал, сплевывая попавшую в рот соленую воду.

— В чем дело? Бригада не подкачала! — выкрикнул он, здоровым хохотом покрывая всплески и рокот разбушевавшегося моря: — Мина побеждена и ладно, успеем в свое время расстрелять!

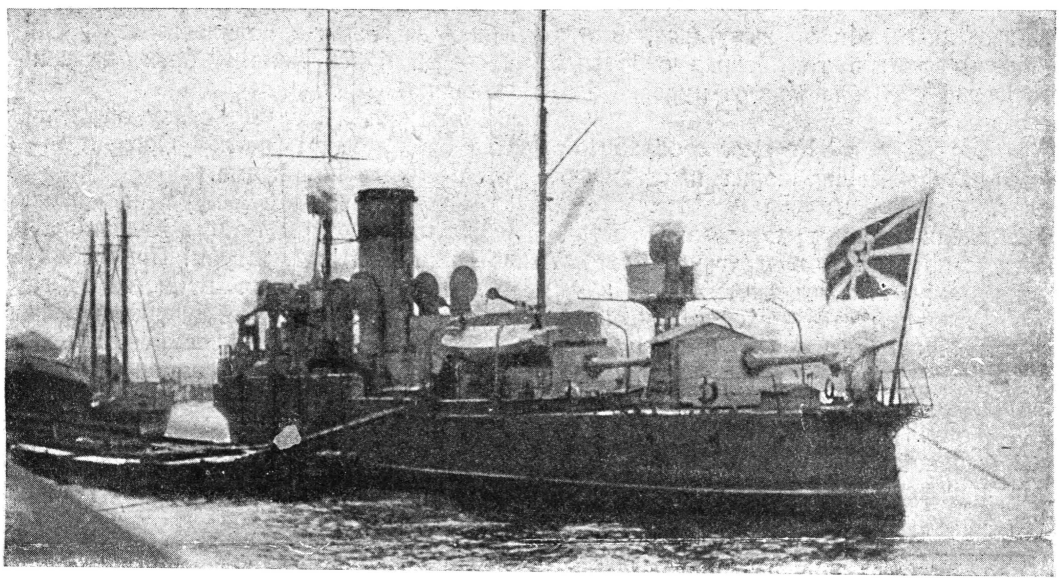
— Да ты поосторожнее, бугай, раздавишь предохранитель, костей не соберем!— предупредил Васильев, наблюдая, как Гришин карабкался на мину, цепляясь за ударники.

— Все это ничего, дрались-то вы отчего, под'езжая сюда на авдоткинском моторе? — брови Гришина приподнялись и превратились в вопросительные знаки: — Ужели из-за Маруськи?..

— Послушай, кричат будто!

На корабле кричали, махали бескозырками. Призывно взвыла сирена исправленной машины. Радостное «ура» покрыло всплески волн, широким об'ятием захватив гребни взволнованного моря. Радость команды спасенного от гибели тральщика была первой наградой смельчакам-ударникам.

А они хохотали, все трое, обнимая мину, в ожидании шлюпки с корабля.



УДАРНИЧЕСТВО ВО ФЛОТЕ.

Канонерская лодка «Красное знамя» об'явила себя ударной как по ремонту, так и по прохождению учебно-боевой подготовки.

ДОЛОЙ ФАБКОМ!

Рассказ Л. РУБИНШТЕЙНА

Иллюстрации Б. ХРАПКОВСКОГО

Несмотря на сладкие речи соглашателей и трескучие фразы, рабочие массы Германии начинают понимать предательскую роль социал-демократов в рабочем движении. Л. Рубинштейн рассказывает о том, как удалось комсомольцу Шиллеру разоблачить предательство соглашательского фабкома.

1

СВЕТЯЩИЕСЯ часы на городской ратуше пробили десять раз. Был тот час, когда город точно не знал — спать ему или растянуть день до утра.

Темные дыры ворот и яркие под'езды глотали одних людей, выплевывали других. Одни спешили отдохнуть после изнурительной работы дня, чтобы завтра с утра снова работать, работать, работать... Другие только готовились жить и веселиться.

Широкие двери ресторана «Кристалл Палас» были открыты настежь. Важный седой швейцар был похож на епископа.

Карл Шиллер взбежал по знакомой лестнице и остановился в дверях зала. Кепку он держал в руках, сапоги у него были не очень чистые.

Он хорошо знал этот зал. Но каждый раз, когда ему приходилось заходить сюда, к отцу-официанту, его, как и в первый раз, ослеплял свет, оглушал шум, становилось невыносимо противно. Оркестр ныл, точно из кого-то тянул жилы. Десятки ног топтались на месте в нелепом безобразном танце. Смокинги мужчин, шелк женщин, пьяные выкрики и звон посуды — все это раздражало. Хотелось погасить электричество, чтобы не видеть...

Карл огляделся. Между столиками и парами танцующих метались официанты. Лица у них были серьезные. Они привыкли. Как ассенизаторы спокойно и деловито очищают выгребную яму, так и кельнеры делали свое привычное дело, не обращая внимания на окружающую мерзость.

Где-то здесь, должен быть и официант Вильгельм Шиллер.

Два часа назад умерла мать Карла.

2

Два часа назад умерла мать Карла.

Она была работницей анилиново-содовой фабрики в Людвигсгафене и долго болела чахоткой. Шестьдесят процентов женщин и подростков, работающих на фабрике, больны чахоткой.

Недаром эту фабрику называли:

— Анилиново-содово-чахоточная.

Мать Карла была такая же, как и другие. Одна из сотен, из миллионов работниц Германии. Всю жизнь она проработала в условиях, которые были равны смертному приговору. И думала, что так нужно. Она говорила покорно:

— Так уж заведено. Не нам переделывать.

Карл вспыхивал.

Он — комсомолец. Он знал: нам переделывать. Нам! Кому же другому? И запальчиво он возражал:

— Мама, мы не должны подчиняться: мы обязаны протестовать, стучать кулаком по столу, требовать. Мы — пролетариат!..

Недавно вернулся товарищ Ганс Вурм, рабочий их фабрики. Он ездил в СССР.

Уезжая с делегацией, он похлопал мать Карла по плечу и пошутил:

— Ну, Шиллерша, если там в самом деле такая чудная жизнь, мы с вами переберемся туда.

Мария Шиллер ответила ему в тон:

— Ладно, я начну укладывать чемоданы.

Ганс Вурм перестал улыбаться. Лицо его стало серьезным и даже злым. Он сказал:

— Не торопитесь, фрау Шиллер. Мы с вами не дети, которых можно обмануть ловкой игрушкой.

И он, сощурившись, посмотрел на Карла...

И вот он возвратился домой.

Встретив впервые после поездки Марию Шиллер, он сказал почти серьезно:

— А ваш чемодан? Готов? Я-то готов уйти туда без всяких чемоданов, пешком, вот так, как есть!

Он рассказывал...

Карл слушал, затаив дыхание. Мать его растерянно улыбалась. И даже старый официант Вильгельм Шиллер, так привыкший к мерзости и пьянству своего ресторана, что не замечал этого, качал головой и повторял:

— Если вы не врете, Вурм, это здорово!..

А Ганс Вурм, посетивший СССР, рассказывал самые обыкновенные вещи: об охране труда, выдвиженцах, работе советов, колхозах, пятилетке, соцсоревновании...

Официант Вильгельм Шиллер спросил осторожно:

— А как же наши социал-демократы говорят, что все это невозможно?

Ганс Вурм был верным и упрямым эсдеком. И он немного замялся, но потом вдруг проговорил, точно про себя:

— Ах да, социал-демократы... Они нас обманули и продолжают обманывать. Они — сволочи...

Вильгельм Шиллер захохотал. Его жена недоверчиво протянула:

— И это вы говорите?

— Не напоминайте мне. Я больше им не принадлежу.

Социал-демократы? Она, в конце-концов, плохо представляла себе, что это такое. Это правительство Германии, фабком. Даже есть полицейские эсдеки. И когда они разгоняют резиновыми палками толпу безработных, они, палки, тоже социал-демократические. Вероятно, так должно быть... Ей некогда было думать о политике. Всю жизнь она работала, стирала, голодала, болела.

Но Карл пришел в восторг от рассказа Ганса Вурма. Он обхватил его за шею и, заглядывая в строгие глаза, закричал:

— Я укладываю свой чемодан! Товарищ Вурм, едем в СССР...

Все это происходило какие-нибудь три недели назад. И вот — теперь мать умерла.

Сейчас она лежала там, в сырой комнате, в глубине темного двора. Соседки наряжали ее в гроб, в могилу.

А Карл стоял в дверях ресторана...

3

Оркестр все еще ныл. От топота ног к потолку подымалась желтая пыль. К Карлу подошел важный бритый человек во фраке. У него были холодные глаза, блестящие, как его лакированные ботинки. Это был метр-д'отель ресторана, главный лакей и распорядитель этого зала. Он проговорил тихо, но грубо:

— Прошу вас немедленно оставить зал.

Карл вспыхнул. Он хотел ответить, но с другой стороны к нему подбежал один из официантов.

— Молодой человек, не заставляйте себя просить.

Его выгоняли. Людям с кепкой в руках, в нечищенных сапогах, с рабочими руками и пустым карманом нечего было здесь делать. Это было ясно. Карл об'яснил, что ему нужно бы повидать отца. Тогда метр-д'отель отошел, а официант переменил тон:

— Вильгельм Шиллер? Пройдите, молодой человек, на кухню. Там вы его легче сыщете, а здесь, вы сами видите...

Карл вышел.

Направо был коридор, в который выходили отдельные кабинеты. В конце коридора была кухня.

В дверях Карл столкнулся с шумной компанией, проходившей в кабинеты. Несколько мужчин и две женщины были нарядны и самоуверенны. Они входили сюда, как к себе домой.

Карл вздрогнул и на мгновенье остановился. Его черные глаза скользнули по фигурам посетителей и опустились. Карл прошел мимо.

В кухне он сразу же нашел отца.

Официант торопился. Он нес на серебряном подносе самые изысканные блюда, убранные так красиво, точно это были цветники в городском саду.

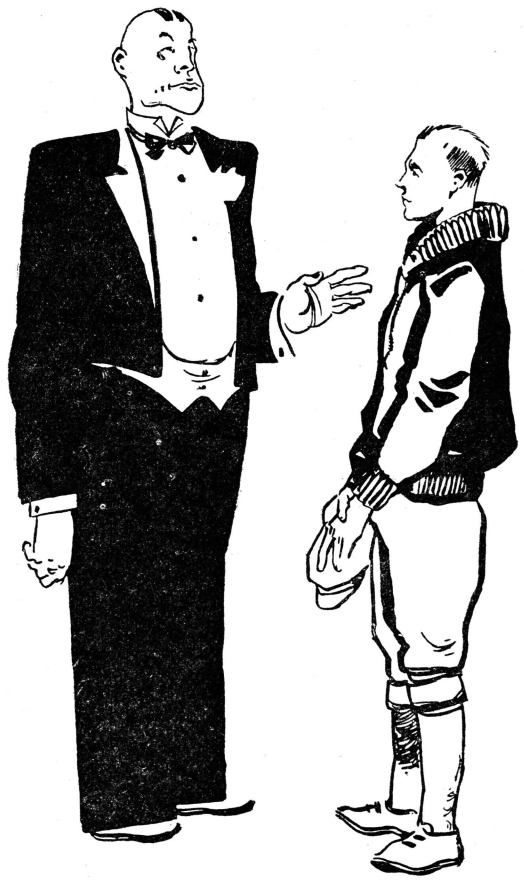
Кивнув головой сыну, он бросил на ходу:

— В чем дело, Карл? Подожди здесь, сейчас вернусь, вот только подам в кабинеты...

Он не скоро вернулся. Карл стоял, прислонясь к стене и стараясь представить себе далекую страну, о которой рассказывал Ганс Вурм. Потом он представил себе нарядную компанию, которую он только что встретил в дверях кабинета. Особенно того, высокого, с рыжеватыми усами и рыжими глазами... Карл улыбнулся, как победитель.

— Хорошо. Это будет здорово!

Отец вернулся с пустым подносом. Салфетка болталась у него под рукой, как белый поникший флаг.



— Прошу вас оставить зал.

— Ну что, Карл? Мать?

Карл рассказал, как умерла мать. Официант тяжело задышал. Лицо его стало красным, он забормотал:

— Двадцать лет прожили вместе. Двадцать лет она работала и болела...

Но горевать было некогда. Из кабинета звонили. Вильгельм Шиллер тихо спросил:

— Мальчик, а ведь на похороны нужны деньги? Господин пастор-то даром не станет беседовать с богом о покойнице... Надо денег. Где их взять?

Он вздохнул.

— Идем вместе домой. Я отпрошусь: не каждый вечер у человека умирает жена!

Но сын неожиданно запротестовал. Он просил отца не уходить. Ведь дело — здесь, сейчас.

— Матери уже ничем не поможешь. Помоги живым. Это очень важно.

Карл рассказал, как у входа в кабинеты встретил сейчас веселую компанию, и описал каждого из них. Этих людей ему надо заснять, когда они будут в отдельном кабинете, как у себя дома:

— Это необходимо. Не спрашивай, отец, зачем. Потом ты сам узнаешь и одобришь.

Карл передал отцу крошечный фотоаппарат «лейку». Отец спрятал его бережно в салфетку и, кивнув головой, побежал со своим подносом.

Карл по черной лестнице спустился во двор и вышел на улицу.

4

На анилиново-содово-чахоточной фабрике с утра было неспокойно. В огромном цеху, похожем на серый погреб,— окна выходили под землю, и пыльные лампочки горели день и ночь,— собирались группами работницы и говорили громко и возбужденно.

Молодая Ольга Лохвен, черноволосая и бледная, почти кричала:

— Каждая неделя вырывает из наших рядов несколько товарищей... Мы умираем все, в этом подземелье... А наш фабком что делает?

Старуха Мартин уныло ответила:

— Фабком пишет воззвания, успокаивает...

Мастер сидел, как зверь в клетке, в угловой комнатке. Он записывал в свою книжечку:

«Ольга Лохвен... Эльза Мартин... Ганс Вурм...»

Огромный Вурм, с бритым злым лицом, ходил по цехам, засунув сильные кулаки в карманы брюк, и бросал какие-то слова, от которых все загорались, а мастер в своей клетке втягивал голову в плечи и против фамилии «Вурм» ставил крестик.

Начиналась стачка. Фабком растерялся. Безличные трусливые люди в фабкоме до последней минуты старались примирить предпринимателя и администрацию с рабочими. Это так часто удавалось, но теперь — ах, этот Ганс Вурм!

Приехал из СССР и смешал все карты. Мутит, рассказывает разные чудеса о Стране Советов.

Вечером началась стачка.

Листок из книжки мастера уже превратился в «черный список», вывешенный в цехах.

Восемьдесят работниц и рабочих снимали с работы, выбрасывали на улицу. «Черные списки» не дают возможности поступить на другое предприятие.

У ворот фабрик они кричали:

— Долой фабком! Мы хотим жить!

5

Фабрика еще не успела притти в себя после «рационализации», которую проводили предприниматели. Число рабочих было сокращено с восьми тысяч до двух.

Две тысячи делали работу восьми тысяч. Старое оборудование, сырые подвалы, цехи, бешенство цеховых мастеров— работа превращалась в каторгу. Это называлось «рационализацией».

Больше нельзя было так жить!

Ночью стачечный комитет об'явил забастовку. Утром появился еще один «черный список». Еще сорок семь человек выбрасывали на улицу.

Черноволосая Ольга Лохвен была в толпе работниц у ворот фабрики. Она стояла у фонаря. Синее платье ее было в темных блестящих пятнах. Кровь сочилась у нее из горла: на руки, на синее платье, на фонарный столб...

Она сплевывала красным и открывала рот, как рыба на песке, хотела что-то крикнуть:

— Товарищи... мы... давно... до... лой!..

Кровь заливала слова. Казалось, девушка выплевывает их с кровью.

— Она не выдержит, умрет,— шептал Ганс Вурм в беспокойстве.

Карлу Шиллеру хотелось плакать. Но плакать было не время. Надо было сражаться...

Утром, когда фабричный гудок прокричал свой пронзительный призыв, у ворот появились новые загадочные люди. По одному они входили в ворота, проходили через контрольную будку и пропадали в темных переходах фабрики.

Рабочие знали: это—штрейкбрехеры, набранные из «технической помощи» — так называется биржа штрейкбрехеров. Все это человеческое отребье содержалось специально на случай стачек и забастовок. Они служили предателям. Это была их специальность. Были среди них и голодные, темные, обманутые социал-фашистами, сбитые с толку. Эти ничего не понимали.

Один из них, маленький человечек, с тощим заморенным лицом, прежде чем войти в ворота, вдруг поднял робко глаза на толпу бастующих. Он прочел в их глазах ненависть и презрение к себе, штрейкбрехеру. В глаза ему бросилась Ольга Лохвен. Вот она плюнула кровью. Человечек остановился, болезненно скорчился. Заколебался.

Карл Шиллер подскочил к нему.

— Вы... вы видите... Это кровь пролетариата! Вы предаете его... Долой соглашателей, штрейкбрехеров, изменников рабочему классу! Да здравствует...

Он не успел докончить. Маленький человечек вдруг визгливо заорал:

— Долой штрейкбрехеров, соглашателей!.. Да здравствует...

Он запнулся. Он ничего не понимал в этом — кто же придет на помощь? Растерянно он посмотрел в рот Карлу.

— Да здравствует рабочий класс! Да здравствует СССР!

И человечек вдруг, налившись кровью, заорал бешено:

— Да здравствует СССР! — И смешался с толпой бастующих. Но он был один из сотен. Те, другие, прошли уже через контрольную будку и вошли в цехи.

Фабрика работала.

6

На веселеньком домике, над под'ездом, сидел, расставив крылья, черный чугунный орел. Еще имперский.

Зеркальные окна блестели на солнце, как драгоценные камни. Дубовая дверь была внушительна. Передь окном разбит цветник.

Контора завода помещалась в стороне от фабричных корпусов, на пригорке. В зеркальные окна не было видно

фабричных труб, пускающих черный дым в облака. Трубы напоминали о труде, о двух тысячах ненавидящих людей. Они беспокоили. Лучше, если их не видно.

Нежные цветы росли перед окнами директорского кабинета.

В кабинете сидел директор фабрики. Точно огромный крюк была вбита в его круглое бритое лицо толстая сигара. Он сидел без пиджака, в одном вязаном зеленом жилете. Бульдог лежал под письменным столом, рядом с ногами в желтых башмаках. Бульдог сторожил ноги директора. Белая, пухлая рука хозяина что-то писала. Против стола сидел в почтительной позе длинный человек с рыжеватыми усами и рыжими глазами. Он смотрел на пухлую руку хозяина и ждал. Когда он деликатно шевелил под столом ногой, бульдог рычал. Рыжий почтительно замирал.

Толстый и длинный беседовали.

«Верный пес», думал он почтительно.

Пес был, в самом деле, верный, за это его хорошо кормили и иногда снисходительно трепали пухлой рукой по шерсти.

Хозяин перестал писать. Он протянул ящик с сигарами рыжему.

— Прошу вас, мой друг, сигары недурны. Итак, давайте беседовать.

Рыжий взял сигару и, откусив кончик, робко спрятал его в карман. Сигара была в самом деле хорошая, дорогая. Бульдог уже не ворчал, поверив, что гость не враг.

Толстый и длинный сидели и беседовали, дымя сигарами...

Курьер, который дремал у дверей кабинета, сквозь дремоту ловил отдельные слова, звучащие за хозяйской дверью.

— Вы все уладите... Нельзя рисковать производством... Мы сделаем уступки, конечно... Кое-что можно бросить, пускай, их утешаются... А мы вам... — Это говорил хозяин.

Другой голос неуверенно лепетал:

— Это все Вурм... комсомольцы и коммунисты... Мы сдержим их...

Курьер вздрогнул: из кабинета звонили.

Хозяин назвал несколько фамилий.

— Пригласи их сюда. Сейчас же.

Все вызванные были социал-демократы. Курьер хорошо знал. их. На собраниях они произносили громовые речи. Они упрекали хозяина, администрацию фабрики в равнодушии к интересам рабочих, обещали помощь, свободу, и всякий раз они бросали несколько слов по адресу членов компартии:

— Эти мечтатели... эти чудаки...

Выходило, что только они, социал-демократы, выведут рабочих из невыносимого положения.

И вот теперь хозяин приглашал их к себе.

«Зачем бы это?» — думал курьер.

Он шел через двор. Было слышно, как на улице, у закрытых ворот, шумели рабочие и работницы.

7

Толпа за воротами фабрики все росла. В руках у людей появились камни. Они наступали. Подошел вооруженный отряд полицейских. Четырнадцать рабочих уже были арестованы и уведены куда-то...

Вдруг в толпе появился машинист Ульрих. У его отца в этом квартале была

табачная лавка. Но об этом не все знали. Все знали, что Ульрих эсдек, оратор на всех фабричных собраниях. Он говорил красиво и уверенно.

Он и сейчас заговорил:

— Товарищи, этот трусливый, жалкий наш фабком довел нас до этого... Коммунисты воспользовались тем, что фабком растерян и испуган, сбили нас с толку. Только социалисты дадут вам истинную свободу и обеспеченный кусок хлеба.

Оратор вз'ерошил шевелюру. Все поняли, что сейчас он заговорит особенно красноречиво.

— Товарищи, лев еще силен, еще слишком силен, чтобы его уничтожить. Мы должны усыпить его внимание, надо действовать хитростью. Борьба неравная: мы — муравьи, а предприниматель—лев... Только социалисты смогут...

Толпа слушала.

Семь коммунистов-рабочих из толпы уже были арестованы. Ганс Вурм, месяц назад эсдек, теперь открыто разоблачал своих вчерашних друзей. Но его уже не слушали. Многим понравилось сравнение с муравьями и львом.

Старуха Мартин спросила:

— А те, которые в «черных списках», их возвратят на работу?

— Лев сожрет их,— хрипло пообещал Вурм.

Ульрих отстранил его рукой.

— Товарищ Вурм, тише: ваша роль на сегодня кончена. Я говорю! Часть «черного списка» будет ликвидирована. Это мы обещаем.— И он заорал, надрываясь: — Долой старый фабком! Перевыборы! Перевыборы! Мы требуем!

Бастующие подхватили:

— Долой фабком! Перевыборы!

Вурма оттеснили. Он хрипел:

— У ног льва ляжет социал-демократическая собака... Она ляжет на ваш муравейник, чтобы к чорту подавить всех вас!

Старуха Мартин, у которой племянница попала в «черный список», сказала Вурму:

— Бросьте, Вурм, эсдеки будут бороться с администрацией за нас... Не срывайте все дело!

Вечером забастовочный комитет вошел в соглашение с администрацией. Из ста двадцати восьми уволенных — двадцать четыре будут приняты обратно. Завтра будет избран новый фабком. С утра все становятся на работу.

8

Новый фабком был избран.

В него вошли социал-фашисты во главе с красноречивым Ульрихом и рыжим человеком с рыжими глазами. Все стали на свои места. Фабрика заработала. Вместо ста выброшенных на улицу—«технической помощью» было прислано шестьдесят пять новых.

В фабкоме Ульрих произносил очередную красивую речь:

— Дорога пролетариата — тяжелая дорога. Но по этой дороге вместе с нами идет и предприниматель. Сегодня у нас общая дорога. Мы кричим: «Долой эксплоататоров!» Да, долой, долой, долой! Но наш час еще не пробил. Мы еще слабы и одним нам не дойти до станции. Пусть наше грозное «долой» звучит как предупреждение, а не как угроза...

Рыжий человечек с рыжими глазами мечтательно смотрел в окно.

«Хорошая сигара,— думал он рассеянно.— Власть — великое дело...»

А там, за стенами фабкома, в рабочих массах шли споры.

— Хорош или нет новый фабком?

Одни говорили уверенно:

— Ну, эти-то уж не продадут. Это— свои.

Другие неопределенно пожимали плечами.

— Поживем — увидим. Кому нынче можно верить?

Ганс Вурм замечал ехидно:

— Конечно, они красные, спорить нельзя. А поскоблите — белые. Как редиска!

Ночью умерла, захлебнувшись кровью, Ольга Лохвен.

Четвертая жертва за последний месяц.

Это было ровно неделю назад. А вот сегодня умерла мать Карла Шиллера.

В этот вечер он и вышел из ресторана «Кристалл Палас», оставив свой фотоаппарат у отца.

«Это будет здорово!»—думал он, шагая по улице домой.

9

Ночь сменила вечер.

В рабочих кварталах: в подвалах, на чердаках, в лачугах, на темных окраинах города, утомленные за день люди спали.

Было темно и тихо в этих квартирах и углах.

Но кое-где ворочались в темноте серые фигуры: кашляли, надрываясь, плевали кровью, стонали во сне, шептали что-то и думали:

«Новый фабком... социал-демократы... враги они или друзья? Они клеймят администрацию, жирного хозяина, жестокого инженера фон-Перль... Но что от этого меняется? Ровно ничего. Вчера умерла девочка Анна из анилинового цеха. Чахотка... Завтра умрет моя жена, дочь, сестра... Эсдеки, кто же они? «Редиска», говорит Вурм... Карл Шиллер, мальчик, хвастал вчера: «Я докажу вам, кто такие социал-демократы. Вы увидите собственными глазами...» Болтает мальчик... Ну как он докажет, что он покажет?..»

Рассвет ползет в окно, крадучись заглядывает в грязный сырой угол.

Скоро утро — работа, сырые цехи, инженер фон-Перль.

Кто умрет сегодня от чахотки?

Рассвет не заглядывал в окна ресторана «Кристалл Палас». Окна плотно были завешаны тяжелыми портьерами.

В отдельном кабинете шел безобразный кутеж.

Фотоаппарат Вильгельма Шиллера лежал уже в кармане его пальто. Аппарат сделал свое дело и хранил в себе очень веселые картинки, заснятые официантом Шиллером в отдельном кабинете.

Вильгельм Шиллер возвращался домой только под утро. Ноги у него тряслись. Лицо было серо-пепельного цвета. В голове стоял звон и крик.

В комнате лежала покойница — его жена.

Карл сказал отцу:

— Я добыл немного денег. Завтра будем хоронить маму вместе с двумя подростками с нашей фабрики... Три чахоточных смерти... Когда же конец?

10

Новый фабком заседал целый день. Опять на фабрике было неспокойно. Рабочие требовали немедленного перевода женщин и подростков из вредных цехов на другую работу. Требовали возвращения уволенных, сложения штрафов, увольнения наиболее свирепого мастера...

— Снова этот Вурм всех мутит — пробормотал один из фабкомовцев.

— Изменник! — воскликнул Ульрих.

Рыжий человек с рыжими глазами вытащил толстую сигару, откусил кончик и закурил. В фабкоме запахло духами.

— Ого! — восторженно воскликнул сосед. — Здорово друг. Прекрасная сигара.

Ульрих перебил:

— Товарищи, о сигарах потом. Дело не ждет. Не сегодня-завтра вспыхнет новая забастовка. Необходимо обезвредить Вурма — этого изменника и смутьяна, во-вторых, необходимо внушить рабочим...

Он развернул свою программу, программу предателей рабочего класса.

— Мы непримиримые враги хозяина-предпринимателя. Рабочие должны это знать. Но, — Ульрих поднял палец, как полицейский на перекрестке поднимает свой жезл, — но надо раз'яснить рабочим, что пролетариат еще слаб, беспомощен и...

Чей-то голос неуверенно перебил:

— А пример России?

— Сказки,—крикнул Ульрих и стукнул кулаком по столу. — Враки!

Голос сконфуженно пискнул:

— А Вурм рассказывал...

— Враки! Рассказы Вурма, изменника, для ребят, для комсомольцев, которые взбесились. Нам нужна осторожная, примирительная политика. Нечего во тьме зажигать костер — мы ослепнем. Сперва достаточно зажечь спичку, осмотреться...

Голос спросил:

— Сколько лет жечь спичку? Она ведь догорит, обожжет нам пальцы...

Ульрих рассердился.

Только социалисты смогут...

— Товарищи, это позор. Такие речи — это измена!

Голос сконфузился.

— Я ведь это так, среди своих... Я понимаю... Ах, какая хорошая сигара!..

Рыжий повернулся к нему и зашептал:

— Сегодня вечером ты, товарищ, будешь иметь такую же. В десять часов встреча у входа. И ты приглашен. Все до одного. А какие женщины, какие рябчики!.. Сам увидишь вечером...

Никто больше не перебивал Ульриха.

11

На утро были назначены похороны трех последних жертв фабричного режима.

Похороны трех товарищей вылились в бурную демонстрацию рабочих. Толпы работниц и рабочих провожали три гроба.

Вильгельм Шиллер шел за гробом. Он плакал. Крупные слезы бежали по его серым, бритым щекам и капали на белый галстук.

Но в толпе не плакали. Сухие глаза горели ненавистью.

Сегодня в груди у этих сотен, у всех проснулось классовое чувство. Они умели ненавидеть, они почувствовали свое неот'емлемое право на ненависть.

Впереди, предводительствуя процессией, выступал пастор, похожий на швейцара ресторана «Кристалл Палас».

Как Карл ни протестовал, отец настоял, чтобы попы хоронили Марию Шиллер. И вот пастор важно выступал вперед, опустив глаза, чувствуя на своей спине сотни ненавидящих глаз.

Он думал: «Поспеет ли редиска в моем огороде к именинам моей жены? Должна бы поспеть».

Потом он мысленно стал подсчитывать доходы за последнюю неделю. Потом вспомнил, как епископ лично написал ему письмо, в котором, одобряя его проповеди, рекомендовал пропагандировать об'явленный папой Пием XI крестовый поход против Страны Советов...

«Надо будет сегодня над свежей могилой сказать проповедь. Пощупать почву... Бросить пробные семена».

Пастор от скуки принялся сочинять проповедь...

«Дорогие братья (глаза поднять к небу)... Три души отлетели к всевышнему (показать обеими руками, как они улетели)... Там ждет их суд всевышнего (вздох). А мы остались пока на грешной земле... — Пастор облизнулся. Он подходил к самому интересному. Дальше он скажет: — Антихристы-большевики сжигают свое духовенство на кострах и трупы их собирают в мусорную яму. Это у них называется утильсырье... Святейший папа...»

Карл Шиллер в это время тихо говорил Вурму:

— На кладбище мы не пустим эту святейшую ворону. Только до ворот. Это уступка моему старику и матери покойной Эльзы.

Вурм вдруг толкнул его локтем.

— Смотри-ка, смотри-ка, шагают как!

Около гроба шагали члены нового фабкома в полном составе. Лица у них были важные, надутые, сердитые. Они боялись, как бы похороны не вылились в демонстрацию протеста. Ведь эти три гроба — это как-никак хорошая тема для коммунистов! Как бы чего не вышло?

У кладбищенских ворот товарищи кое-как убедили пастора убраться подобру поздорову домой. Они не отвечают за настроение рабочих.

— Господину пастору могут быть неприятности... Рабочие сильно возбуждены.

Пастор обиделся и убрался.

Скромное кладбище на краю города давно не видало такой толпы провожающих.

Три гроба опустили в три ямы под пение революционных песен.

Ульрих тоже подпевал. Он старался, чтобы его видели и слышали все рабочие. И он произнес первую речь над свежими холмами.

— Позор эксплоататорам! — начал он. — Три души сейчас поднялись к престолу всевышнего бога...

Он стал произносить речь, задуманную было пастором. Точно они сговорились, в самом деле, пастор и эсдек, громко называвший себя социалистом. Но они не сговаривались. Так вышло само собой.

Кто-то крикнул:

— А нельзя ли без богов? Долой!

Поднялся шум.

Рыжий вдруг протрезвел. Он вышел вперед.

— Товарищи, — закричал он зычно, покрывая все голоса, — товарищи, внимание! Нам тоже не очень нужен бог... Бог с ним! Дело не в том. Над этими тремя могилами мы должны поклясться...

Он умолк, выжидая общего внимания. Стало тихо.

Вурм громко проговорил:

— Да, правильно, товарищ. Мы должны поклясться отомстить.

Рыжий сделал жест рукой.

— Внимание! Вурм, не болтайте чепухи! Мы слабы для мести. Мы должны дать клятву не забывать никогда трех погибших товарищей, и в память о них собрать сумму на... — он запнулся — ну, что ли, на школу.

Кто-то выкрикнул злобно:

— На церковную?

— Долой соглашателей!

— Тише!

— Товарищи, внимание!

— Слово Карлу Шиллеру! Внимание, товарищи.

— Карл — сын покойной Марии Шиллер, дайте же ему говорить.

Карл выступил вперед. В руках он вертел какую-то бумажку. Лицо его было бледно.

Все стихло. Он начал взволнованно:

— Товарищи! Вы слышали сейчас членов нашего нового фабкома. Они говорили о боге, о клятвах над тремя могилами. Они еще вчера обещали нам свою защиту и помощь. Конечно, мы в праве ждать от своего фабкома и защиты и помощи. Да, нас есть от кого защищать! Но вы верите, что этот фабком, фабком, состоящий из соглашательских заправил, из друзей капитала, будет на вашей стороне? Я не верю!

Ульрих крикнул с места:

— Это оскорбление рабочего фабкома! Долой комсомольцев!

Несколько голосов поддержали его.

— До-о-лой!

Рыжий человек и другие фабкомцы заволновались.

— Надо убрать мальчишку! Чушь он болтает!

Карл продолжал, теперь уже уверенно и почти грозно:

— От кого вы ждете, товарищи, помощи? Кому мы доверились?

— А кто их знает? — крикнула старуха Мартин и плюнула яростно, чуть

не угодив на сапог Ульриху. Ее обманули эсдеки: ее племянница, попавшая во время забастовки в «черные списки», так и не была принята обратно на фабрику, — ее вышвырнули на улицу, как паршивую кошку. Старуха Мартин пожалела, что ее плевок не попал в лицо Ульриха.

— Живоглоты! Мошенники! Редиска! Предатели!

Старуха Мартин вопила исступленно.

Ульрих, бледный, крикнул:

— Докажите, что мы вас предаем. Все это брехня озверевших коммунистов. Докажите!

— И докажу, — прозвучал молодой голос.

Карл развернул бумажку, которую вертел в руках.

— Вот, смотрите! Вот они, наши защитники, враги капиталистов! Вот! — Он тыкал пальцем в бумажку.

Это был фотоснимок. Тот самый из миниатюрного фотоаппарата, которым официант Вильгельм Шиллер, по просьбе сына, заснял кутящую в «Кристалл Палас» компанию...

И рабочие увидели: члены фабкома, в обществе владельца завода, администрации и полуодетых женщин весело кутили в отдельном кабинете ресторана.

— Вон толстая рожа хозяина. А рядом, тоже с сигарой, член фабкома, рыжий с рыжими глазами... А вот Ульрих — председатель социал-фашистского фабкома. И все другие. И женщины, пьяные, полуодетые...

Картина была такая циничная, г н у с н а я, что Вурм плюнул.

— Тьфу! Какая пакость!

Старуха Мартин набрала побольше слюны и плюнула прямо в лицо Ульриху...

Она еще набрала слюны плюнуть в рыжую рожу. Но того уже не было. Он стремглав бежал к воротам. Тогда Мартин плюнула на галстук другого фабкомца, — не пропадать же слюням!

Ульрих, вытирая лицо платком, бормотал растерянно:

— Это ошибка... Недоразумение... Я докажу...

Карл поднес к его носу отпечаток:

— Видал теперь? Изменник! Предатель!

Ульрих зажмурился. Толпа наступала на него. Он видел глаза, горящие вековой ненавистью, лица, искаженные гримасой боли, негодования, вызовом.

— Редиска! Предатель! Лакей капитала!..

Ульрих закрыл лицо руками.

***

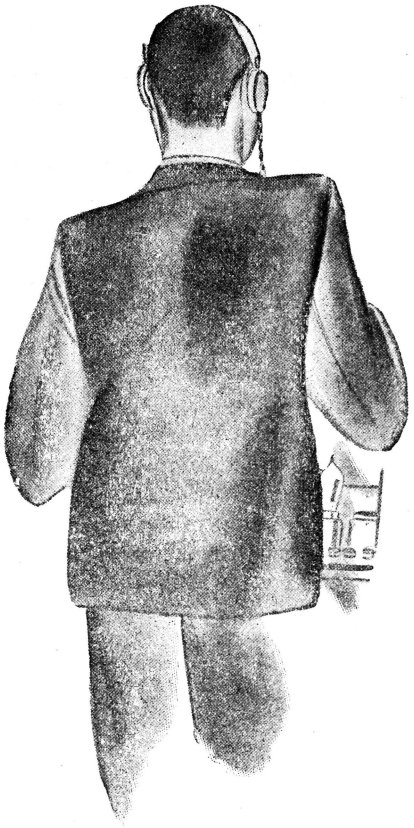
В рабочих кварталах: в сырых углах, в подвалах, на чердаках эту ночь долго не спали.

А на другой день рабочие постановили:

— Фабком распустить. Избрать новый.

Потом с т а р у х а Мартин говорила, что сколько она себя помнит, ни одно избирательное собрание не проходило еще так дружно. В ы б и р а л и единогласно.

В новый фабком вошли шесть коммунистов и боевой комсомолец Людвигсгафена — Карл Шиллер.



ИНТЕРВЬЮ
ПО РАДИО

Из воспоминаний журналиста Макса ПОЛЯНОВСКОГО

Не погоня за сенсацией, не жажда наживы, не голый авантюризм — стимулы буржуазного газетчика — влекут советского журналиста на добывание общественно-важного материала. Как всякий работник, советский журналист служит интересам своего класса, своей страны. Он подвергается тысяче лишений, идет в полярный поход, пробирается через сибирскую тайгу, бредет по раскаленным пескам Средней Азии или 108 часов безвыходно высиживает в радиорубке ледокола, настороженно ловя волны, несущие вести о политически-важных событиях. Сегодня литературный работник — завтра, в случае надобности, советский журналист поедет работать на один из гигантских строев или возьмет винтовку; его перо, кирка и винтовка всегда служат его классу.

Свинцовая завеса над океаном

С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО берега Тихого океана шли тревожные вести. По указке нанкинской своры в крупнейших городах Южного Китая — Шанхае, Кантоне и Ханькоу — началась дикая травля всего советского, вскоре вылившаяся в разгром наших консульств. Полные тревог телеграммы ТАСС'а прибывали все реже, становились короче и наконец вовсе прекратились. Корреспондентов агентства, очевидно, упрятали за решотку.

Связь с тем берегом прервалась. Лишь по кратким враждебным сообщениям иностранных телеграфных агентств изредка удавалось узнать кое-что о судьбе советских граждан. Потом, неожиданное категорическое сообщение об убийстве наших дипломатов, подлые сплетни шанхайской газетенки «Чайна Пресс», издающейся англичанами, и, наконец, полный отрыв. Никакой информации. Мрачная зловещая тишина.

Приближавшийся новый девятьсот двадцать девятый год по многим признакам сулил войну с Китаем, где генеральская свора не только нарушила международные правила о неприкосновенности представителей других стран, но пролила кровь советских дипломатов.

На японском пароходе, пришедшем в те дни в наш порт, раздобыли газету из Токио. В ней коротенькая телеграмма: «В Кантоне расстреляно 11 сотрудников советского консульства. Среди них вице-консул Хассис. Остальные сотрудники консульства, в том числе сам консул СССР Похвалинский с семьей, арестованы».

Решили ждать прибытия других пароходов, надеясь раздобыть новые сведения, но в декабре взбунтовался штормами, льдами и вьюгами Тихий океан, корабли с того берега прибывали все реже, на время и вовсе замер порт.

Владивосток — наиболее близкий к месту событий советский пункт — не

Тов. А. И. Хассис, вице-консул СССР в Кантоне (убит).

имел сведений о драме, разыгравшейся на соседних берегах, не мог сообщить никаких подробностей центральной прессе, настойчиво домогавшейся их и упорно подгонявшей телеграммами своих корреспондентов в этом городе, являющемся нашим форпостом на тихоокеанских берегах.

Работники владивостокской редакции делали героические попытки, только бы добиться ответа на несколько текущих вопросов: кто такие десять убитых с Хассисом, их фамилии? Уцелел ли консул? Что произошло в Шанхае, где генконсулом был Козловский? Как обстоит дело в Ханькоу,— там товарищи Пличе, Минин и другие? Живы ли, под арестом или высланы на родину — в СССР?

Тов. Пличе, генконсул СССР в Ханькоу.

В эти дни задергали агента Наркоминдела, — тот в свою очередь пытался что-либо узнать у газетчиков и вместе с ними нажимал все рычаги для получения информации о товарищах, отделенных от своей страны океаном. Тщетно...

Противоположный берег оказался в непроницаемом тумане—и как-будто надолго. Владивосток напряженно ждал сведений, которые должен был поведать шестой части земного шара, но в свинцовой завесе, отделившей его от Китая, не намечалось ни единой щели.

Удрученные таким оборотом дела корреспонденты много курили, грызли ногти и упорно молчали. Ни одной строки о кровавом тайфуне, разразившемся по ту сторону океана, никто из них раздобыть не мог.

Телефонный звонок решает дело

В коридоре редакции отрывисто зазвонил телефон.

— «Красное Знамя» — автоматически бросила в трубку дежурная.

— Алло, говорят из Совторгфлота. Передайте редакции о том, что нами получено сообщение из Китая, где говори...

— Из Китая! — прервала дежурная, находившаяся, очевидно, в курсе главнейших событий. — Не кладите трубку, сейчас позову нашего сотрудника.

Через секунду я крепко впился в трубку.

— Какое сообщение? Говорите, слушаю...

— Из Шанхая последним рейсом возвращается пароход Совторгфлота «Сишан», принявший на борт сотрудников совконсульства и ряд наших граждан.

— Назовите фамилии, сколько человек, когда выезжают, сколько времени пробудут в пути. Говорите, записываю, — захлебываясь кричал я, довольный, что после нескольких дней бездействия смогу наконец выполнить задание редакции.

— Больше говорить нечего, — спокойно ответил голос из Совторгфлота. — Содержание телеграммы вам сообщено. Об остальном узнаем, когда пароход прибудет.

Тов. Козловский, генконсул СССР в Шанхае.

— А скоро он прибудет?— спросил я упавшим голосом.

— Не знаем. В океане небось слыхали, какая творится катавасия. Холодище, ветры, штормяги. Вероятно за день до прибытия «Си-

шан» по радио даст знать о своем приходе.

— По радио?..

— Ага! Ну, всего, товарищ. Если еще что узнаем, немедля вам сообщим.

— Спасибо, спасибо... Непременно звоните.

Через пять минут после разговора я понес к редактору отстуканную на машинке заметку о предстоящем приходе «Сишана», принявшего на борт наших работников. По пути в его кабинет прочитал эти несколько строк — плод трехдневных поисков важного материала. Заметка заканчивалась так: «О дне своего прибытия во Владивосток пароход «Сишан», очевидно, уведомит агентство Совторгфлота накануне по радио».

У самой двери у меня созрел план. Решил предложить его редактору.

— Иван Федорович, — окликнул я погрузившегося в писание передовой худощавого человека. — Глядите, первая весточка с того берега. Наши едут!

Он быстро прочитал заметку. Вызвал секретаря, распорядился, чтоб дали ее на первой странице черным корпусом, и снова остановил на мне выцветшие глаза.

— А знаете, не мешало бы позвонить и в другие пароходные агентства. Здесь их, кажется, несколько. Может быть и у них есть сведения.

— Это мы сделаем, но у меня план поинтереснее. «Сишан» везет наших дипломатов, которые, конечно, поделятся с нами подробностями о событиях, но ведь прибудут они сюда не скоро. Суда с трудом пробираются вперед, вместо суток карабкаются трое, отстаиваются в портах и тому подобное. Давайте-ка попробуем ускорить интервью. Вся страна глядит на Владивосток, ждет информации из советских источников. Мы можем дать ее немедленно. При помощи радио. Надо будет узнать позывные «Сишана», это не трудно, вызвать это судно с местной радиостанции, попросить, чтоб к аппарату позвали шанхайского генконсула и, предложив ему ряд вопросов, попросить на них ответ. Если удастся узнать, на каких пароходах возвращаются сотрудники остальных разгромленных консульств, повторим эту попытку снова.

Редактор согласился на мое предложение и сказал:

— Действуйте. Что для этого вам нужно?

— Немного. Разрешение начальника портовой радиостанции, находящейся на ледоколе «Добрыня Никитич», запас терпения и надежда на успех.

К вечеру было получено разрешение, гласившее, что сотруднику «Красного Знамени» позволено круглые сутки находиться в радиорубке для получения интервью с работниками советских консульств, возвращающимися из Южного Китая. Радистам «Добрыни» дан был приказ всячески содействовать осуществлению незаурядной беседы.

День этот был богат новостями. За несколько минут до ухода из редакции в портовую радиостанцию меня вновь позвали к телефону.

— Вы просили сегодня днем сообщать вам о всех прибывающих судах?

— Просил, просил. Кто говорит?

— Агент японской пароходной компании «Сиосен-Гуми». Ожидается прибытие парохода «Каги-Мару», не вышедшего во-время в очередной рейс из Цуруги во Владивосток вследствие тайфуна. Нами получены сведения, что им приняты на борт сотрудники советского консульства в Ханькоу, прибывшие уже в Цуругу.

— Спасибо за сообщение. Скажите, на «Каги-Мару» есть радиостанция?

— Радио имеется на всех пароходах нашей компании, — авторитетно заявил японец.

— Большое спасибо. Звоните, если что будет.

Наспех продиктовав и сдав для завтрашнего номера газеты заметку о том, кого привезет «Каги-Мару», помчался в порт, на ледокол, в радиорубку.

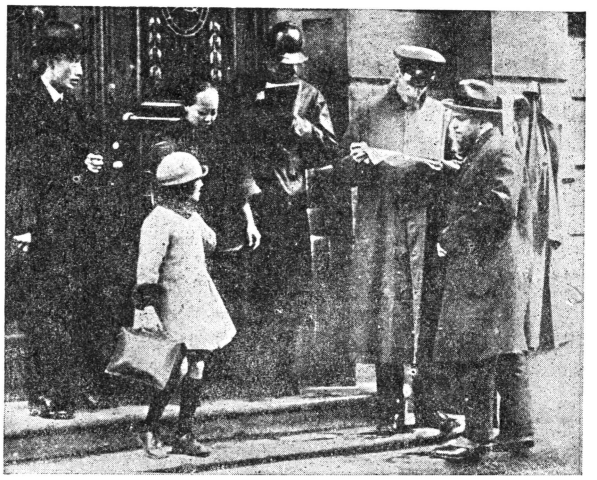
108 часов в радиорубке

Радисты были уведомлены о моем приходе, но не знали, в чем заключается возложенная на них и на меня миссия.

— Мы должны рассказать советской стране и всему миру правду о кровавой драме, разыгравшейся на том берегу океана по воле китайских сатрапов и англи-

чан. Во что бы то ни стало должны мы вызвать к радио уцелевших товарищей, передать им свои вопросы и добиться от них ответа. Я не уйду отсюда, пока не получу интервью.

Радисты поняли и тотчас же стали искать в записях позывные сигналы судов, везших наших возвращенцев. Радиорубка не знает сна; долгие сутки дежурств делятся на четыре равные части между четырьмя радистами. В дни, когда бушевал океан, они казались еще более настороженными, чутко прислушивались к каждому тончайшему писку, идущему оттуда, где бурлила стихия.



Английская полиция просматривает бумаги посетителей советского консульства в Шанхае.

В рубке зазвонил телефон. Редакция поставила меня в известность еще об одной новости: на пароходе восточно-азиатской компании «Зосма», идущем во Владивосток, возвращается часть шанхайских совработников и единственный уцелевший от разгрома в Ханькоу секретарь консульства.

Предстояла сложная работа: заставить заговорить людей, находящихся где-то в океане на «Каги-Мару», «Сишане» и «Зосме». Удастся ли затея, захотят ли администраторы иностранных пароходов вызывать к аппарату советских дипломатов, дойдет ли наш клич сквозь шторм и бурю до мест назначения?

В иллюминатор виден был лишь туман, плотно окутавший бухту «Золотой Рог».

Под уверенной рукой радиста медный ключ тонкоголосо пищит, змеится под ним ярко-зеленый огонек, излучаемый мерным постукиванием. Из-под руки радиста, по незримым волнам, бегут далеко в море слова, полные тревоги. Они обращены к тем, кто покачивается сейчас на пароходе в безбрежном просторе, с каждым часом отделяясь от залитых кровью берегов.

Телеграфный ключ выстукивает позывные всех трех судов, но безрезультатно. Попытки наладить связь продолжались всю ночь, весь следующий день и вечер, но ни один из нужных нам пароходов не отозвался. На третий день дежурства узнаем, что «Каги-Мару» вышел из Цуруги на два дня позже обычного, так велика была буря, находясь же в порту судно не имеет права принимать радио. О «Сишане» и «Зосме» никто ничего не знал.

Третьи сутки погони за радиоинтервью были безуспешны.

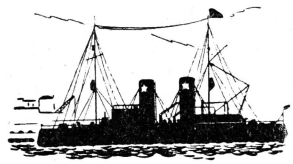
Не проходило часа, когда бы мы не вызывали нужные нам суда. Радисты почти не покидали рубку. Окончательно утерялся счет часам. Благодаря туману и непрестанно горевшему электричеству — никто не замечал, как сменялся вечером короткий зимний день. Металлические наушники пересаживались с головы на голову, в пространство посылались запросы. Результатов не было.

Неудача затеи портила настроение. Частые телефонные звонки домогавшейся результатов редакции нервировали. Из рубки я отлучался лишь на несколько минут, чтобы в ближайшей портовой китайской лавчонке купить провизии. Возвращался в трепетном ожидании новостей молча. Молчали и радисты. Положение оставалось без перемен.

На исходе третьих суток дежурный радист занес в вахтенный журнал радостную весть: обнаружены сигналы радиостанции парохода «Каги-Мару», посланные японской береговой станции. Значит, пароход уже в пути.

На «Каги-Мару» — консульство из Ханькоу. Необходимо поскорее связать-

ся с «Каги-Мару». Радисты давали слух наивысшего напряжения, и на этот раз нам повезло. Нас приняли. Немедленно по-английски передаем просьбу позвать к аппарату советского генконсула для беседы с сотрудником газеты.



Нам пообещали исполнить просьбу. Потянулись долгие часы.

В ожидании ответа мечусь по надоевшей рубке, извещаю по телефону редакцию о положении дела, выбегаю в порт, где томятся корреспонденты центральных и крупных провинциальных газет, нетерпеливо дожидающиеся результатов затеянного мною радиоинтервью.

В океане кто-то выстукивал позывные «Добрыни». Радист насторожился, напряг слух и прошептал:

— Говорит «Каги-Мару». У аппарата вице-консул в Ханькоу—Минин. Задавайте вопросы. Начинаю передавать...

От нас посыпался туда в темноту, в море град вопросов к тем, чьих ответов мы долго и напряженно ждали. На шершавой бумаге карандаш радиста вычерчивал ответы на них.

Минин по радио рассказывает своей стране, как произошел налет:

— 17 декабря, в шестом часу утра вооруженные до зубов солдаты начали оцеплять совконсульство в Ханькоу. Их ло так много, что размещение патрулей заняло 2½ часа. У ворот консульства поставили пулеметы. Окружая консульство, войска расположились на территории французской концессии. Очевидно оцепление консульства СССР было согласовано с французским консулом.

К воротам подошли двое, отрекомендовавшиеся представителями министерства иностранных дел. Едва им открыли ворота, в них немедленно вбежало 40 вооруженных солдат, занявших оба дома консульства. Двое прод'явили ноту, предписывавшую консульским работникам немедленно покинуть помещение. Об арестах и обысках в ней не упоминалось, между тем начался обыск и грабеж на глазах сотрудников. Консулу тов. Пличе и мне предложили немедленно поехать в комиссариат по иностранным делам.

Консул Пличе не хотел оставлять помещение консульства, не поставив в известность о происходящем других иностранных консулов. В этом ему было отказано. В ответ на пред'явленную ноту нами было немедленно заявлен про...

Карандаш радиста остановился, лицо подернулось гримасой.

— Забивают черти...

«Черти»—это мощные японские радиостанции, заглушающие нас своей работой. Из-за них рассказ Минина приходит записывать из пятого в десятое. Откуда-то из океана он сообщает грустную повесть о том, как громили советское консульство, как были насильно уведены под арест все сотрудники, чтобы не мешать разбойничьим выпадам буржуазных дипломатов, как комиссар по иностранным делам Ган Цзе-хоу лицемерно уверял наших работников, что налет произведен без его ведома, причем показал им приказ, в котором генерал Ху Цзун-до предписал советскому консульству немедленно оставить город.

«Когда приедем во Владивосток,— передавал вице-консул,—расскажем подробно, каким издевательствам подвергали нас иностранцы. Нас пригнали под конвоем на китайский грузовой пароход «Фулун» и все время держали под стражей. На другое утро выехали. В Нанкине пересадили на другой пароход, шедший в Шанхай. Когда прибыли туда, решила «блеснуть» французская полиция, не давшая нам возможности высадиться на французской территории.

«На рассвете перед от'ездом из Шанхая английская полиция произвела личный осмотр женщин и детей. Распеленали даже грудного ребенка одной нашей сотрудницы и тщательно проверили содержимое пеленок и одеяльца.

«Пароход доставил нас в японский город Кобе. Оттуда мы выехали поездом в Цуругу, чтобы сесть на «Каги-Мару», уходивший во Владивосток. Наш консул Пличе с нами не едет. Он получил распоряжение выехать в Токио».

— Известно ли вам что-нибудь о судьбе наших консульских работников

Генконсул СССР в Кантоне тов. Похвалинский с женой и вдовой убитого сотрудника консульства в Кантонской тюрьме. (Снимок фоторепортера фирмы «Патэ»).

в Кантоне и Шанхае?—послали мы вопрос в темноту океана.

— Нет, ведь мы все время были под арестом. Слыхали, что Хассис убит, что сделали с Похвалинским—неизвестно...

Минин пожаловался на усталость, просил пока ограничиться данными им сведениями, пообещал восстановить по приезде все подробности. Мы распрощались и, не менее утомленные, прекратили разговор.

До отдыха и сна нам, обитателям радиорубки на «Добрыне», было еще далеко. Радисты, пользуясь сравнительным затишьем, потому что ночью японские береговые станции работают мало, решили добиться «свидания» с остальными судами, везущими уцелевших наших товарищей.

Через несколько минут после беседы по радио, схватив запись радиста, впервые за трое суток покидаю порт и выхожу на пустую, сонную владивостокскую улицу, чтобы поспеть в ночную редакцию раньше, чем завтрашний номер газеты будет сдан в машину.

***

Дежурим четвертый день. Ждем.

Всех клонило ко сну, когда радист, откинув наушники, сообщил полушопотом:

— «Сишан» запищал. Необходимо его зацепить...

Но говорить с «Сишаном» днем не удавалось. Его слабую радиостанцию непрерывно заглушали сильные японские береговые установки. С большим трудом передали, что нам нужен находящийся на судне шанхайский генконсул Козловский. Условились возобновить разговор, когда немного стихнет вокруг.

Весь день ждали тишины, но тщетно. Слишком опасен был в ту пору океан, посылавший во все концы множество сигналов, нередко тревожных. Лишь поздно ночью в эфире наступил сравнительный покой, и «Сишан» не замедлил им воспользоваться:

— У аппарата генеральный консул Козловский. Он просит, чтобы «Красное Знамя» сказало, какие вопросы его интересуют.

Приободренные, мы задаем свои вопросы и ждем, ждем пятые сутки желанного ответа. Но Козловский заговорил не сразу. Выговорил себе некоторый срок и пообещал ответить еще этой же ночью.

Генконсул сдержал свое обещание, но момент, выбранный им, оказался неблагоприятным. Радист, принимавший ответ, нервничал, ругал японские станции, сильно заглушавшие беседу, которая, судя по отдельным отрывкам и словам, содержала множество интереснейших подробностей не только о шанхайских, но и о наиболее тяжелых для нас кантонских событиях.

Отдельные клочки разрозненного интервью были настолько интересны, что по телефону я передал их ночной редакции,

не замедливший включить эти сведения в текущий номер.

Молочным густым туманом начинался пятый день моего невылазного пребывания в радиорубке, когда радиостанция парохода «Колыма» неожиданно вызвала «Добрыню Никитича».

Радист насторожился.

— Неужто «Колыма» терпит бедствие?

Но «Колыма» вызвала нас по другому поводу. Ночью, когда мы говорили с генконсулом и с трудом записывали обрывки его ответа, находившейся в открытом море «Колыме» удалось полностью принять это интереснейшее интервью. И вот запрос:

— Если есть надобность, можем повторить полностью все сказанное товарищем Козловским.

— Конечно, есть! С благодарностью примем. Говорите...

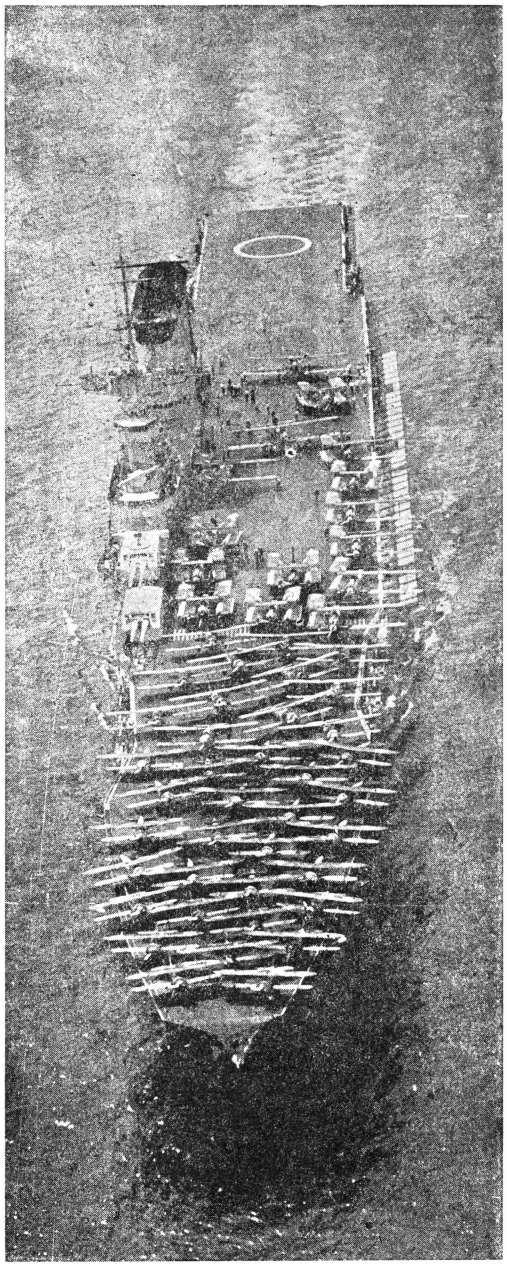
Слова с моря целиком занесены на бумагу. Сквозь свинцовую завесу, отделившую от нас тот берег, пробился сноп света. Мы подробно узнали о зверствах оголтелой китайской военщины, о количестве убитых в Кантоне сотрудников консульства, их фамилии, подробности налетов, и все последующие мытарства уцелевших, арест,—вплоть до от'езда.

Сто восемь часов в радиорубке не прошли напрасно.

Приезд тов. Похвалинского в Москву.

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК

Рассказ Г. САУТАМ



В американских условиях погони за долларом часто рабочий, развращаемый буржуазными идеалами наживы, собственности, индивидуализма, легко теряет классовое чутье. От этой опасности его может спасти только активное участие в классовых схватках, крепко спаянный рабочий коллектив. Франк не понимал, что только упорной работой в интересах своего класса он может загладить свое преступление, и погиб бесполезно, бессмысленно.

В МАНАГАУ прибыли ночью. Город спал. Только на судах, в порту горели фонари, да у входа в бухту сияла алюминованная авиоматка «Саратога».

До утра простояли на якоре. Офицеры ездили куда-то на катере. Солдаты спали. Лишь на корме сидели и тихо болтали несколько волонтеров, вдыхая запахи тропической ночи, порта и шканцев.

— Знаете, ребята, что мне все это напоминает? — говорил один. — Я где-то читал, как испанец Пизарро ездил покорять Перу. Так вот и мы приехали покорять этого подлеца Сандино.

— Не очень-то мы похожи на испанцев, Кид, — насмешливо отозвался сосед. — Ты, судя по говору, из южных штатов?

— Из Георгии. А ты, Бобер?

— Я, брат, с севера, из Висконсина.

— Значит, мы земляки? — вмешался третий.

— Если ты из Мильвоки, значит земляки.

— Нет, я провинциал, из Антиго.

— А мне почему-то, ребята, думается, что драться нам не придется,—заметил четвертый.

— Правильно, Эшли, правильно сыночек! — расхохотался Бобер. — Нас привезли сюда в благородный пансион, будут кормить ананасами и водить гулять по парочкам. Так ведь, Кузнечик? Эй, Кузнечик! Смотрите-ка, ребята, наш Кузнечик замечтался. О чем мечтаешь, зеленый Кузнечик? Если о прекрасной южанке, которая ждет твоих серенад, то лучше брось. Я, брат, знаю эти края. Здешние чумазые донны моются раз в год перед пасхой, а мужья носят кинжалища в метр длиной.

— Оставь, Бобер, — досадливо поморщился солдат со странным прозвищем Кузнечик. — Мечтаю и мечтаю. Тебе-то что?

— Или старое вспомнил? — прищурился Бобер.

Кузнечик вспыхнул:

— К чорту старое! Затем и поехал сюда, чтобы его забыть.

Бобер молча пожал плечами. Потом стал вполголоса читать товарищам лекцию по сравнительной географии увеселительных мест западного побережья Карибского моря.

А Кузнечик опять задумался.

Неужели прошлое никогда не оставит его? Ну, сделал человек ошибку. Молодость, глупость, дурацкая желтая литература, воспевающая подвиги полицейских. Разве он не раскаялся потом в своем поступке?

Да, труд слесаря тяжел. И нет ничего удивительного, что юный Франк Стиль, начитавшись Пинкертона, променял тяжелый напильник на легонькую изящную винтовку заводского полицейского. Городок Флинт кормился около большого завода Буика. Поэтому ни одна забастовка на заводе не встречала на месте ни моральной, ни материальной поддержки, и заводская полиция легко выуживала приезжих агитаторов из Детройта, членов IW,[1] а иногда и коммунистов.

Некоторое время Франк увлекался этой безопасной и веселой игрой. Но после одной стычки с рабочим пикетом, когда полицейские, обезоружив рабочих, избили их до полусмерти, он почувствовал отвращение к игре.

В заводской полиции вместе с Франком подвизался старый авантюрист Симпсон, по прозвищу Бобер. Он попал сюда прямо из тюрьмы, где высидел больше года за кустарное производство пятидолларовых бумажек. Решив примириться с правительством, Бобер принялся рьяно вылавливать «внутренних врагов» и через месяц получил повышение—стал сержантом.

К этому времени у Франка созрело твердое решение уйти из полиции и вернуться к станку.

Он подал в отставку. Отставки ему не дали. Тогда он попросту дезертировал, бежав в соседний Детройт.

В большом городе человек, как иголка в стоге сена, и мистер Форд не

[1]) Левая профсоюзная организация.

спрашивает, кто вы такой, а просто дает вам пробу.

Полгода проработал Франк на гайках № 17, стал сближаться кое с кем из рабочих, хотя у Форда это не легко, как вдруг грянул удар: новые товарищи отвернулись от Франка, стали смотреть сквозь него чужими глазами, словно сквозь лист стекла.

— Кузнечик перепрыгнул к нам из Флинта, — как-то сказал нарочно громко его сосед, итальянец Джиакомо.

На следующий день Франк взял расчет и перешел на завод «Дженерал Моторс». Но дурная слава догнала его и тут. И здесь люди, бывшие с ним сперва приветливыми, внезапно насупились, перестали его замечать и замолкали при его появлении. Кузнечик метался с завода на завод, и везде повторялось то же самое. Ему оставалось, одно из двух: или, стиснув зубы, примкнуть к бесшабашной компании деклассированных или повеситься, — иного выхода он не видел. В таком душевном состоянии он встретился с Джоном Харпером. Этому суровому старику Кузнечик излил все, что у него наболело. Джон поверил ему, ободрил парня и пытался реабилитировать его в глазах товарищей. Однако и он не смог пробить стены недоверия, окружающей Кузнечика.

Наконец, Джон сказал ему:

— Уезжай. Я верю тебе, Франк, но ты сам видишь, что здесь тебе не жить. Уезжай и будь полезен тем, кому принес вред.

Кузнечик уехал, пожил некоторое время в Чикаго. Но и туда пробралась вслед за ним дурная молва. Он переменил несколько мест и, точно гонимый фуриями, полетел в Нью-Йорк. Здесь он голодал, просил милостыню, метался из квартала в квартал и вдруг записался волонтером в армию. Его душа была вся в кровоточащих ранах. Надев опять мундир, он вдруг успокоился. Им овладела странная апатия, может быть, реакция после трех лет безумных скачков.

Батальон Кузнечика отправляли в Никарагуа для подавления восстания. Перед от'ездом он написал Джону:

«Не осуждай меня, старина, я так устал. Я еду не драться. Ни Сандино, ни его повстанцы ничего мне не сделали. И стрелять в них я не буду. Я сам жду пули. Надеюсь, что дождусь. Ведь я никому не нужен. Я много думал над твоими словами: «Будь полезен тем, кому принес вред». За все время мне не удалось искупить своей вины. На мне клеймо. Я думаю, что только смерть уничтожит его. Постараюсь найти смерть».

Неожиданная встреча с Бобром на военном транспорте всколыхнула в нем жгучие воспоминания и укрепила его решение. Если их пошлют драться, он выйдет из окопов и пойдет вперед до первой пули.

Но никаких окопов не оказалось. И вообще войной не пахло. На утро отряд перевезли на берег, погрузили в вагоны и повезли «на фронт». После семи часов пути поезд остановился у конечной стан-

ции Гранады. Дальше были Кордильеры, где могли пробираться только лошади, мулы да повстанцы Сандино. Батальон направился в горы. Шли небольшими переходами, тащили с собою обоз и за целую неделю не сделали ни одного выстрела. Повстанцы сгинули. Где-то, вероятно, шли бои, свистели пули, а здесь, в горах, было безлюдно и тихо. Солдаты скучали.

На восьмой день батальон попал в засаду. Как только он вступил в тесное ущелье, его стал обстреливать с высоты невидимый противник. Когда же батальон развернулся, выстрелы прекратились, и опять повисла мертвая тишина. Было всего несколько раненых, но в батальоне поднялась паника.

Целые сутки простояли в ущелье и никого, кроме кондоров, не видели. Повстанцы исчезли без следа. К вечеру командир выстроил солдат и обратился к ним с речью:

— Ребята, вызываю желающих итти на разведку. Нужно добыть пленных. Дело опасное, в этих чортовых горах заблудиться просто. За каждого пленного будет уплачено двести долларов. Кто хочет итти?

Сердце Кузнечика сильно стукнуло, и он сделал шаг вперед. За ним вышел Бобер и еще двое.

— Только четверо? — нахмурился командир. — Кто еще хочет?

Шеренга молчала.

— Хорошо, — сказал командир,—тогда я назначу сам.

Он вызвал шесть человек.

— Начальником разведки назначается Симпсон,—Бобер сделал шаг вперед и отдал честь. — Возьмите с собою провиант на два дня. Держите курс на юг.

***

Карабкаться по горам ночью было жутко. Бобер имел весьма смутное понятие о направлении, но самоуверенно вел свой отряд. Пройдя километров пять, он остановился и стал осматриваться, но ничего не смог разглядеть в густой тьме.

— Привал, — хмуро сказал он. — Огня не зажигать. Переночуем, а утром двинемся дальше. Пирсон и Хорн остаются дежурить.

Солдаты спали чутко. Темной ночью, в горах, в чужой стране, может быть, в окружении врага,—поэтому шопота часового Хорна было достаточно, чтобы все проснулись.

Хорн указывал на мерцавший невдалеке огонек.

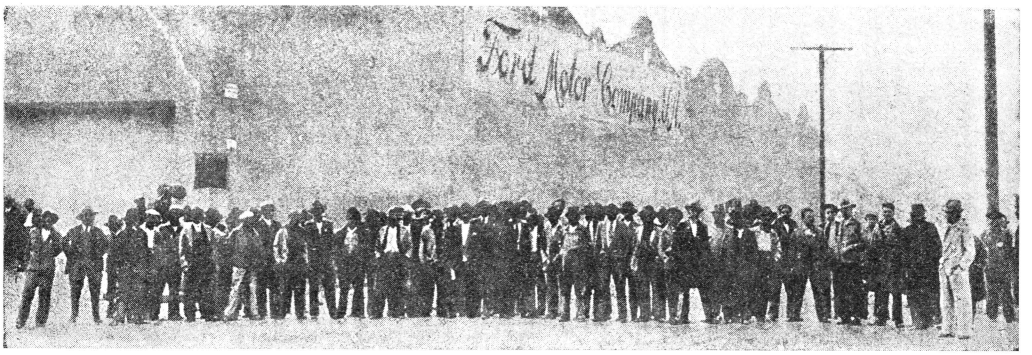
— Костер,— прошептал Бобер. — Ребята, вперед! Двести долларов за голову!

— А если их много? — шопотом же спросил Эшли.

— Тогда наши головы не будут стоить ни цента.

С сильно бьющимся сердцем двинулся Кузнечик за отрядом. Что делать? Предупредить этих несчастных? Выстрелить? А если повстанцев больше, чем охотников за головами? Тогда конец всему отряду. Кузнечик не хотел смерти товарищей. Пожертвовать собой?.Но как это сделать?

Внезапно он очнулся. Товарищи исчезли в темноте. Он отстал от них. Тогда он стал пробираться прямо на огонек. Куз-



нечик не привык лазить по горам, и только инстинкт спасал его от падения в расселины. Огонек приближался. Кузнечик упорно брел к нему, ощупывая путь прикладом винтовки. Потом скала скрыла огонек. Кузнечик взобрался наверх и замер. Внизу, в каких-нибудь двадцати метрах, на ровной площадке горел костер. Вокруг него, сгорбившись, сидело несколько фигур. Кузнечик сосчитал: шесть. Мерцающий неровный свет костра не позволили различить лиц сидящих повстанцев.

Вдруг грохнули выстрелы. Повстанцы вскочили, заметались вокруг костра. Откуда-то из тьмы вынырнули фигуры солдат, и закипела рукопашная. Дрались кулаками. Оружия не пускали в ход.

Схватка закончилась быстро. Хорошие боксеры, американцы справились с повстанцами, и когда Кузнечик спустился вниз, пять связанных фигур лежали рядом у костра, а у края пропасти стояли двое солдат и, наклонившись, всматривались в темноту:

— Убежал, негодяй, — сказал один. — Ничего не поделаешь, Бобер, пропали двести долларов. Только не думаю, чтобы парень остался жив. Этакая крутизна! Тут змея костей не соберет.

Солдаты бурно радовались. Так легко заработали тысячу долларов! Да это легче охоты на перепелок.

Кузнечик подошел к костру. Над огнем висел закопченный котелок с жидкой похлебкой. На земле валялись две темных лепешки, раздавленные в свалке.

Он стал всматриваться в лежавших повстанцев. Так это и есть знаменитые «неуловимые», которых буржуазные газеты овеяли такими легендами? Перед ним были жалкие люди в лохмотьях, один в овечьей шкуре, все или в драной обуви или босиком, грязные, растрепанные.

Вглядываясь в хмурые лица, Кузнечик старался определить социальное положение повстанцев. Вон тот, в шкуре, несомненно пастух. Эти двое, судя по одежде, батраки с плантаций или погонщики мулов. Четвертый—мулат, скорее всего из городских. А пятый... Кузнечик терялся в догадках. У него тонкие черты лица и складная фигура горожанина. Не рабочий, скорее интеллигент. Может быть начальник маленького отряда? Завтра днем всех пятерых приведут в батальон, допросят и расстреляют. Кузнечик тоскливо посмотрел на угомонившихся товарищей. Они укладывались спать.

— Ты будешь караулить пленных, — буркнул ему Бобер, устраиваясь у костра.

Волна горячей радости залила сердце Кузнечика. Это шанс! Ах, только бы скорее засыпали товарищи! А они как назло ворочались, вздыхали.

Костер бледнел. Где-то вдали, за белыми вершинами Кордильер, занималась бледная заря. Потянуло утренним холодком. Солдаты ежились под тонкими шинелями, подкатывались друг к другу, согревались в куче и крепко засыпали.

Кузнечик нервничал. Скорее бы, скорее! Заря охватила полнеба.

— При первом луче солнца! —поставил себе срок Кузнечик и нервно вытащил перочинный нож.

Связанные повстанцы лежали, не шевелясь, с закрытыми глазами. Может быть они спят? И вдруг Кузнечик привстал: из-за дальней вершины первый острый луч пронзил блеклую синеву тумана. И в то же мгновение он почувствовал на себе взгляд. Пастух пристально смотрел на него широко раскрытыми глазами. В его взгляде не были ни ненависти, ни страха, — он просто смотрел на Кузнечика.

Тот сделал шаг к нему и раскрыл нож. Пастух прищурился, но не шевельнулся. Чувствуя в горле ком, Кузнечик нагнулся, быстро перерезал веревки и сунул нож в руку пастуху. Тот опять пристально посмотрел на него, протянул руку и перерезал путы ближайшего товарища. Через две минуты освобожденные повстанцы змеями поползли в сторону и исчезли за скалой. Последним пополз пастух. На мгновение он задержался, обернулся, и в его взгляде Кузнечик ясно прочел вопрос:

— А ты?

Он потупился и помотал головой.

Пастух исчез.

А Кузнечик вздохнул, лег и мгновенно заснул.

Проснулся он от сильных ударов. Взбешенный Бобер бил его сапогом в бок.

— Где пленные? Где наша тысяча долларов? — кричал он. — Проспал тысячу, осел проклятый! Расстрелять тебя за это надо, мерзавца!

Кузнечик медленно поднялся. В следующий миг от сильного удара кулаком в лицо Бобер покатился на землю.

— Твоя тысяча долларов ушла, Бобер, — сказал Кузнечик. — И меня ты не расстреляешь, потому что я тоже ухожу. Я жалею только, что не ушел с ними.

Он повернулся и спокойно пошел прочь. Вдруг он обернулся: Эшли целился ему в спину. И тут Кузнечик прыгнул прямо в пропасть. Где-то наверху грянул выстрел, за ним другой. Сердце Кузнечика замерло, холодная волна поднялась к горлу, и вдруг удар всем телом о скалу выбил из него остатки сознания...

***

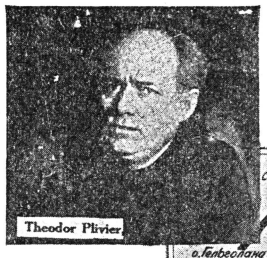
В батальон привезли почту из Манагуа. Одно письмо, написанное твердым размашистым почерком, было адресовано рядовому Франку Стиль.

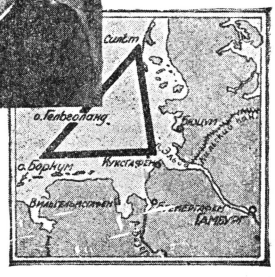
«Дружище Франк, — писал Джон Харпер. — Если ты жив, то порадуешься вместе со мной: на-днях наши ребята добились крупных успехов. Расценки несколько повышены, заводская полиция сокращена вдвое. А кроме того коммунисты развалили проклятый желтый союз. Ну, брат, и панама открылась! Оказывается, вся эта профсоюзная банда поголовно была на откупе у господ предпринимателей. Разумеется, был большой бум. Скажу тебе по секрету, что человек двести наших записалось в коммунисты, а с ними и я—на старости лет. Вот какие дела у нас, а ты умирать хочешь. Плюй на свою армию, бросай все: лети сюда. Я говорил о тебе с ребятами. Тебя примут, как друга, и забудут все. Беги при первой возможности. У нас назревают такие дела, что каждый энергичный парень на вес золота. Я сам помолодел лет на двадцать. Итак, кати в Детройт, чем скорее, тем лучше».

Но письмо это некому было получить, ибо в списках батальона против фамилии Стиль стояло: «Пропал без вести».

Это была единственная потеря батальона за всю никарагуанскую кампанию.

МОКРЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК





Из романа Т. ПЛИВИЕРА *Иллюстрации В. ГОЛИЦИНА*

Недавно в Германии появилась новая книга об империалистической войне: «Рабы кайзера» («Kaiser's culies») Теодера Пливиера. Мы даем 2 главы из этой интересной книги, мало уступающей «Огню» А. Барбюсса и, несомненно, превосходящей пацифистский роман Ремарка «На западе без перемен». В первом отрывке, помещенном в июльской книжке, описывалась борьба крошки-«Ариадны» против двух сильнейших крейсеров английского флота «Лайона» и «Тайгера». Книга Т. Пливиера скоро выходит в свет в издании «Молодой Гвардии».

V. После боя

ЧАЙКИ с криком носятся над водой. Ветер поднимается широким загибом с Северного моря. Все усиливаясь, он разрывает полог тумана, хлещет, размётывает набегающие с устьев рек пласты мглы и вскидывает их кверху.

Близится вечер. Низко стоящее солнце завешано тучами. Море как-будто раздвинулось. Подстегиваемое крепчающим нордвестом, оно нажимает на «треугольник». Прилив набегает на плоские мели, разбиваясь на короткие, с силой ударяющие волны. Камбала погружается в глубину, ложится на брюхо позади песчаных барьеров, в защищенных ложбинах. Прибоем наносится треска, широкоротые морские собаки, зубастые хищники идут лавиной над песками.

Нордвест-шторм!

Плоское, пригнувшееся к воде небо. Гребни волн, покрытые пеной. То взлетая, то опускаясь, носятся чайки. Мелкие суда выходят в море, ныряют, зачерпывая воду бортом. Миноносцы и крейсера разыскивают серые квадраты, где недавно бушевали орудия.

— «V 187» затонул!

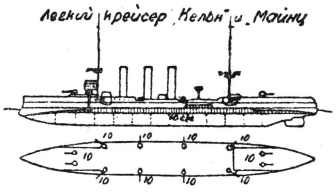
— «Кёльн» затонул!

— «Майнц» [1] затонул!

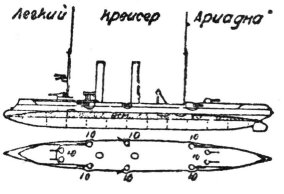
— Ариадна» [2] затонула!

Четыре судна с 1200 человек! Четыре огромных масляных пятна широко растекаются по морю. На отливающей фиолетовым блеском поверхности плавают ящики, матрацы, пробковые пояса с трупами. Кое-где судорожно шевелятся руки, виднеются искаженные зеленые лица...

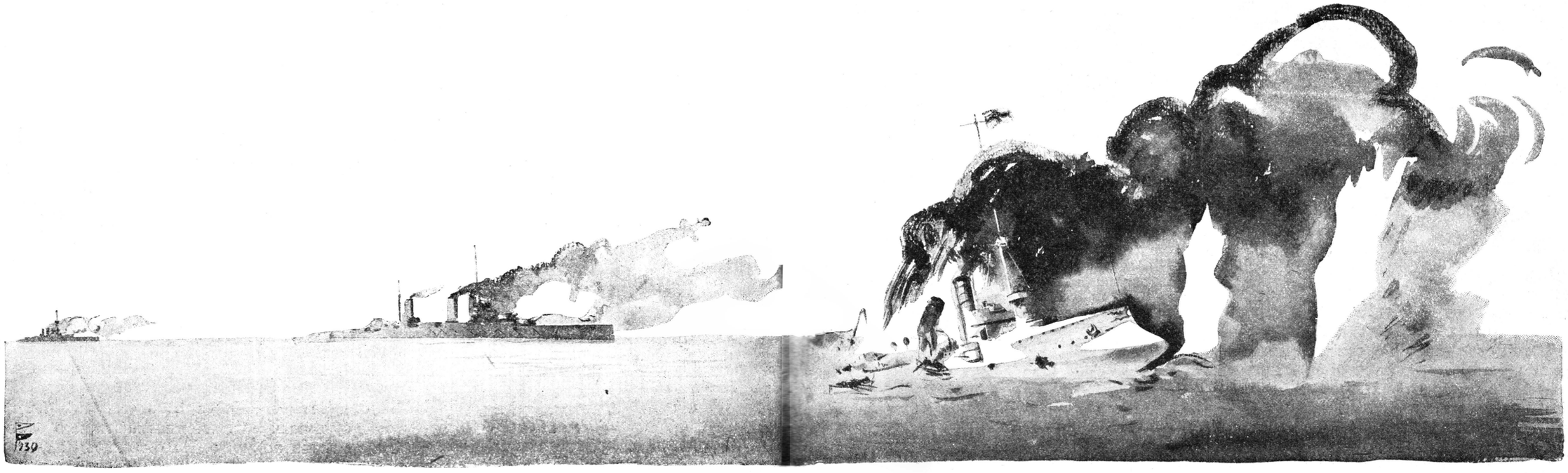
Миноносцы и крейсера спускают шлюпки и вылавливают живых, а после них — мертвых. Затем берут курс к берегу, борясь с ветром и морем. Внешний рейд, Вангероог Шиллиг. Суда проходят мимо эскадры линейных кораблей, стоящих на якоре, на фоне плоского берега.



1) Легкий крейсер «МАЙНЦ»; постройки 1909 г. 4280 тонн. Вооружение: 12 орудий 10 см. Ход — 25,5 узла.



2) Легкий крейсер «АРИАДНА»; постройки 1900 г. 2618 тонн. Вооружение: 12 орудий 10 см. Ход — 21 узел.



Гибель «Ариадны».

Небольшой крейсер «Хвала женщине» идет с половинной скоростью. Задняя труба у него сорвана. Посредине граната разрушила орудие, а на корме, чуть-чуть над ватерлинией, зияет огромная пробоина. На «Штеттине» тоже сорвана труба. За крейсером, в кильватере, следует полуфлотилия миноносцев.

На линейных кораблях офицеры и матросы выстроились на палубе по-дивизионно, под передними башенными орудиями.

— Трижды «ура» крейсеру «Хвала женщине»! Трижды «Штеттину», «Ростоку», «Данцигу»!

Экипаж мелких крейсеров смотрит на исполинские дула стальных башен, на широкопалубные броненосцы. Вот достойные противники «Лайона» и «Тайгера» и боевой крейсерной эскадры сэра Битти. А между тем они не снимались сегодня с якоря. Легкие крейсера вяло, автоматично отвечают на бурные оклики линейных гигантов. Ответное «ура» миноносцев звучит еще слабее.

Миноносец с пробоиной зачерпывает носом воду, которая заливает его до подножья капитанского мостика. Молодой командир на потрепанном снарядами мостике стоит, прямой как аршин, впиваясь глазами в адмиральский вымпел на гросштоке флагманского судна. Экипаж и люди, снятые с затонувших кораблей, стоят на юте, выпачканные и промокшие. Тысячеголосое «ура» линейных гигантов гремит над их головами. Ни одна рука не поднимается вверх. Молча проходит миноносец мимо гигантов.

«Увечная калоша» с красным крестом на трубах и бортах заключает кортеж. Флаг приспущен. На палубе лежат вповалку подобранные трупы, прикрытые полотнищами боевых флагов. В каютах закутанные в шерстяные одеяла корчатся выловленные из моря раненые. Из всех кают слышатся крики и стоны обгоревших, ошпаренных паром, растерзанных осколками снарядов.

На гигантах «ура» смолкает. Экипажи стоят мрачными кучками на палубах, провожая глазами медленно проходящее мимо и исчезающее во тьме судно...

VI. Ночная работа

Второй матросский дивизион, пятая рота. Коридоры и палаты погружены в темноту. Большинство матросов — рекруты недавнего набора. В палатах для «стариков» годные для гарнизонной службы, присланные из лазаретов и откомандированные с судов лежат в два-три этажа друг над другом в своих койках и спят.

Только в одной палате нижнего этажа, в вахтенном помещении, горит свет. Половина вахтенной смены лежит на койках. Спят одетые, при портупее, с пристегнутым тесаком, натянув фуражки на глаза от яркого света ламп.

Другая половина вахты стоит на постах — у цейхгауза, у ящиков с амуницией, перед канцелярией ротного командира. Все эти посты не имеют особенного значения, и часовые стоя дремлют.

Лучше всего дневальному и дежурному боцману, которые сидят за столом в натопленном вахтенном помещении. Дневальный — выловленный из моря матрос с крупного крейсера «Йорк», недавно налетевшего на мину и затонувшего.

Матрос с «Йорка» подложил под голову локоть и заснул. Боцман сонным отсутствующим взглядом водит по стенам.

Ветер на дворе носится со свистом, задевая трубу или гребень крыши.

Но вот дежурный боцман вскакивает. Нацарапанные перед ним буквы складываются в стройные столбцы: приказы по роте. Между ними — полученный ночью приказ, подчеркнутый красным карандашом: в 12 часов всех будить. Обмундирование: рабочий костюм, сапоги. В 12 часов 30 мин. выстроиться перед казармой, получить лопаты. В 12 часов 45 минут выступить.

Карманные часы показывают без двадцати двенадцать. Боцман расталкивает дневального:

— Ступай, буди смену! А потом фельдфебеля!

Дневальный поворачивает выключатель. Электрические лампочки в коридорах и палатах вспыхивают. Резкий белый свет колет глаза спящим.

Боцманский свисток проносится трелью по коридорам:

— Всем вставать! Одеваться: рабочий костюм, сапоги!

Словно тяжелый маховик, приходит в движение круговорот казарменной жизни. Скамьи с шумом отодвигаются. Двери хлопают. Тяжелые шаги гремят по коридорам.

— Всем выстроиться перед казармами.

Двор кажется огромным полотнищем черного сукна. Над каланчой сигнальной роты — озаренные лунным светом контуры проносящихся облаков. Холодный ветер хлещет в лицо. Матросам раздают лопаты. Рота выстроилась.

— На первый, второй, третий, четвертый — рассчитайсь! Правое плечо вперед, шагом марш!

С лопатами на плечах колонной выходят матросы за ворота казарм. По улицам — за город.

Ветер раскачивает ряды тополей.

Мало-по-малу поднятая от сна рота приходит в себя. Вспыхивают трубки. Матросы осматривают местность, плоскую и пустынную. Каждое дерево похоже на привидение.

— Чего ради нас подняли?

Никакого ответа. Молчание марширующей колонны действует угнетающе.

Зачем подняли? Не трудно догадаться. Но никому не хочется об этом думать.

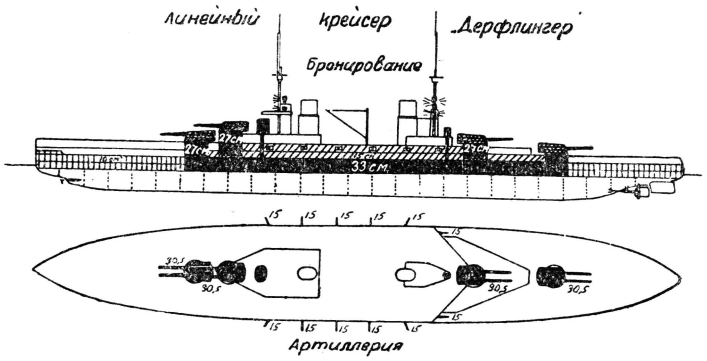
Флот вышел в море два дня назад. Был недалеко. Линейные корабли стоят уже снова на рейде. Но эскадры броненосных крейсеров еще нет: «Молотьке», «Дерфлингера», «Зейдлица».

Боцман Вейс ведет колонну.

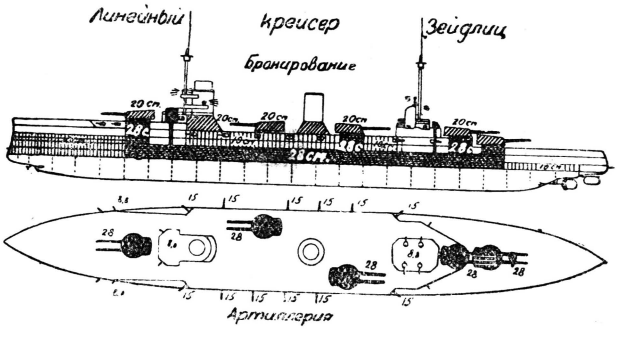
За живой изгородью светятся огни — якорные фонари, поставленные на землю. Перед ними—движущиеся фигуры, отбрасывающие длинные тени: матросы в сапогах, с лопатами в руках. Они роют большую яму.

— Отделение, стой! Смирно!

Боцман Вейс рапортует:



1) Линейный крейсер «ДЕРФЛИНГЕР»; постройки 1913 г. Водоизмещение — 28000 тонн. Вооружение: 8 орудий— 30,5 см.; 12—15; 12—8,8. Ход — 26,5 узлов.



2) Линейный крейсер «ЗЕЙДЛИЦ»; постройки 1912 г. Водоизмещение— 25000 тонн. Вооружение: 10 орудий—28 см.; 12—15; 12—8,8. Ход — 29 узлов.

— Рота на смену — есть! Рота на работе — отставить!

Предыдущая смена успела вырыть яму до живота. Новая продолжает работу. Жирная, болотистая почва. Каждая лопата земли требует усилия. Пропитанные водой глыбы крепко присасываются к железу, противятся врезающим их рукам. Как-будто почва не хочет, чтобы ее взрывали. Холодный ветер носится по полю. Пот выступает на лбу:

— Проклятая трясина! — чертыхается кто-то.

Встречается со взглядом соседа и, жуя губами, словно желая проглотить сорвавшееся ругательство, наклоняется вновь и хватает руками холодную непокорную глыбу.

— Куда они посылали крейсера, боцман, верно не в бой? Эскадра ведь была неполная. «Фон-дер-Тан» стоит в доке.

— Они? Они такое, брат, сделали. Рой, однако, не разговаривай. Для тебя тоже будут рыть, когда придет твой черед!

Работают упорно, стиснув зубы. Сапоги вязнут в грязи. Сверху в яму затекает подпочвенная вода. Помогают друг другу от нее освободиться. Пререкания забыты, матросы потчуют один другого табаком.

Какой-то жутью веет от огромной ямы.

Светает. Желтый, как глина, которую они роют, встает день. Боцман Вейс обмеривает шагами вырытую яму — двести пятьдесят шагов в длину, два метра в глубину.

Огромная могила! На триста человек...

VII. „Железные собаки"

К вечеру приходят в порт суда эскадры бронированных крейсеров. Первыми — «Мольтке» и «Дерфлингер». «Зейдлиц» тяжело тащится позади, с трудом волоча пробитую, заполненную водой корму.

На рейде стоит боевой флот первой, второй и третьей эскадры линейных кораблей.

Не видно света, не видно красок под этим проклятым небом. Плоско нависла над мачтами пелена туч. Словно сквозь проржавевшую крышу, каплют дни за днями, скопляясь в мутные лужи вокруг безнадежно стоящих судов. Не слышно на них команды: «выстроиться по-дивизионно», не слышно громогласных «ура». Матросы стоят серыми кучками на палубах.

— А где же «Блюхер»[1]?

— У «Зейдлица» пробоина! В корме!

— Башни точно мертвые!

— Флаг приспущен!

— У них убитые на борту!

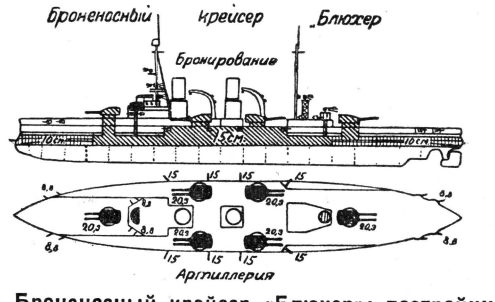
На «Зейдлице» две задних орудийных башни — «Цезарь» и «Дора» — выгорели внутри, каждая с восемьюдесятью людьми прислуги. Снаряд пробил бронепалубу и попал в башни. Несколько тысяч кило пороху вспыхнуло. Наравне с верхушками мачт полыхали синие и красные языки пламени. Несколько долгих секунд они стояли снопом над «Зейдлицем». Порох сгорел, но не взорвался. В одно мгновенье погибла вся орудийная прислуга в башнях.

Под броневой палубой стояла подвахта кочегаров и резерв матросов. Они ожидали приказа выступить. Но с капитанского мостика была отдана другая команда:

— Третий отсек — под воду!

Три матроса, лейтенант, заведующий насосами и его помощник пробежали через заполненный ядовитыми газами отсек. Рукоятки насосов накалены, но матросы схватились за них и стали качать. Пасти защитных вентилей открылись. Вода, булькая, заливала камеры и оттягивала корму со всем, что на ней живого, под уровень моря.

Матросы резерва захлебнулись, как кучка мышей, опущенных вместе с мышеловкой в воду...



1) Броненосный крейсер «Блюхер»; постройки 1908 г. Водоизмещение — 15.800 т. Вооружение: 12 орудий 20,3 8—15; 16—8,8. Ход — 25 узлов.

Центробежные насосы «Зейдлица» выкачивают восемь тысяч тонн воды в час. Уровень воды в третьем отсеке постепенно понижается, и трупы матросов резерва оседают отстоем на палубу...

Матросы на корме «Зейдлица» стоят, как изваяния. На носу, у вант тоже стоит группа матросов. Их лица обращены в сторону длинного ряда линейных кораблей, крепко привязанных тяжелыми железными цепями к якорям. При виде гигантов на железных цепях из толпы матросов вырывается возглас:

— Железные собаки!

Этот возглас пробегает по казематам, по угольным бункерам и котельным, перебрасывается на мостик к вахтенным офицерам, к штабу бронекрейсерной эскадры, к адмиралу.

На флагманском корабле броненосного флота «Фридрих Великий» [1], столпившись у релинга на борту, голова к голове, стоит тысяча человек.

На мостике — старший лейтенант.

— Кричите им ура, молодцы!

— Трижды ура нашим доблестным крейсерам!

— Урра!.. р-ра!.. ра!

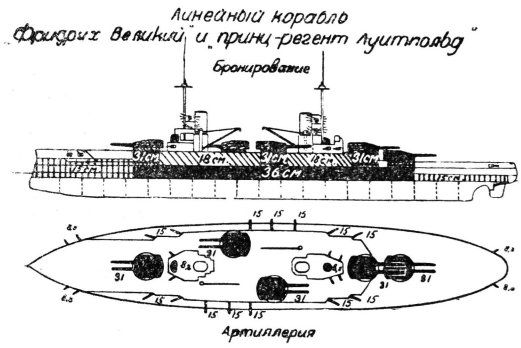
На «Зейдлице» из люков и казематов серым потоком выливается на палубу экипаж.

Командир судна делает попытку:

— Трижды ура броненосцу «Фридрих Великий»!

Ответный крик экипажа представляет собою беспорядочный отрывистый лай.

1) Линейный корабль «ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ»; постройки 1911 г. Водоизмещение—24 700 тонн. Вооружение: 10 орудий — 31 см.; 14—15; 12—8,8. Ход — 23,6 узлов.



Поднимаются кулаки, отчетливо слышатся возгласы:

— Железные собаки! Железные собаки!..

«Зейдлиц» идет в док, везя с собой убитых и раненых. «Блюхеру» не нужен больше док. Из-за своей малой скорости он был оставлен, — «отстал за ахтерштевень», как выражаются технически,— и был разбит вдребезги снарядами вдесятеро сильнейшего неприятеля. Оставшиеся в живых матросы лежали на животе, прижавшись к палубе. «Блюхер» перевернулся, показал над водой свой киль и исчез в пучине...

Для убитых с «Зейдлица» и «Дерфлингера» приготовлена могила. Те же матросы, что рыли ее, стоят в две шеренги перед пришвартовавшимся к набережной «Зейдлицем» — пятая рота второго матросского дивизиона.

VIII. Башня крематорий

Стемнело. Фонари отбрасывают островки света на плиты набережной. Вода в доковой бухте тускло блестит, словно расплавленный асфальт. Мрачно возвышается над ней силуэт крейсера.

— 5-я рота на работу!

Отряд доковых рабочих уже явился на борт «Зейдлица» с инструментами, перчатками и кислородными аппаратами. Входные люки башен-кладбищ открываются, а также боковые проходы в казематы.

Триста человек роты и тысяча оставшихся в живых экипажа принимаются за работу. С длинными электрическими кабелями проникают они внутрь башен и казематов.

Перед башней «Цезарь» стоит кучка доковых рабочих. Люк, через который попадают внутрь башни, так узок, что они лишь по очереди могут туда пролезть.

Первый из них уже там. Ему подают электрическую лампу-звездчатку. Но прежде чем следующий рабочий успевает полезть в люк, оттуда высовывается лампа и падает на палубу. Стеклянные груши с легким взрывом разлетаются вдребезги. Вслед за лампой выползает и рабо-

чий. Он скатывается по ступенькам на палубу. Лицо у него, как мел.

— Что случилось?

— Ничего особенного...

Но на лбу его капли холодного пота. Он дышит порывисто и глубоко.

Обер-лейтенант, наблюдающий с капитанского мостика эту сцену, бросает:

— Уж эти доковые рабочие! Не могут разгрузить башню. Еще лампу разбил, болван!

— Господин обер-лейтенант! Отдайте распоряжение каптенармусу выдать рабочим по чарке водки. И матросам в казематах тоже.

— Слушаюсь, господин командир!

Подают другую лампу. Второй рабочий лезет в башню. Он знает, что там трупы, которые надо оттуда извлечь. Но, подняв над головой лампу, он видит в ярком свете 250 свечей картину, до того неожиданную и фантастическую, что стены башни начинают ходить ходуном, и он вынужден прислониться.

№ 1 орудийной прислуги стоит перед ним, как стоял в момент боя: глаз на прицеле, одна рука крепко обхватила рычаг зубчатки, при помощи которого он заткнул в жерло орудия пару тяжелых снарядов, другая — на спусковой кнопке. У № 12 руки на дальномере. № 2 и остальные матросы стоят, точно живые. Как на ученье, когда командир отдал приказ: «Стой, батарея, стой!»

Но не совсем. Эта неподвижность — неподвижность восковых фигур в музее. В их лицах нет ни капли краски, нет даже матово-синей фосфорической бледности мертвецов. — Глаза — обуглившиеся глубокие впадины.

Рабочий не двигается с места. Он стоит, точно оглушенный обухом, и ждет второго товарища. Тогда только он вешает лампу на крюк.

Словно люди, затесавшиеся в чужое общество, чувствуют себя оба в этом немом окружении.

Первый рабочий заглядывает широко раскрытыми глазами в серое безглазое лицо. Рука его медлит прикоснуться к трупу. Он бормочет дрожащим голосом, как бы в свое оправдание:

— Брось рычаг, брось орудие. Ты свое дело сделал.

Он с трудом выталкивает из себя слова:

— Ты свое отработал, товарищ! До конца. Хватит с тебя. Кричит своему спутнику: — Бери с того конца!

Они хотят положить № 1 наземь — сначала его, потом остальных — и через люк переправить их на палубу. Но едва они протягивают руку и дотрагиваются до трупа, происходит нечто неожиданное.

У первого рабочего искры замелькали перед глазами, словно он глянул прямо на солнце... Словно желая отогнать видение, он проводит рукой по лбу. Другой смотрит ничего не понимающими глазами на свои пустые руки, на резиновые перчатки, вдруг покрывшиеся слоем серой пыли. Они слышат лишь слабый треск, серая пыль у них на руках, на штанах, на сапогах — и только.

Мертвеца — как не бывало: пыль и осколки белых костей...

Колоссальный жар внутри накаленной замкнутой башни вызвал такое небывалое явление. Башня стала крематорием, в котором мертвецы были превращены в пепел. Обгоревшие и прилипшие к коже части одежды помогали телу сохранить еще свою форму.

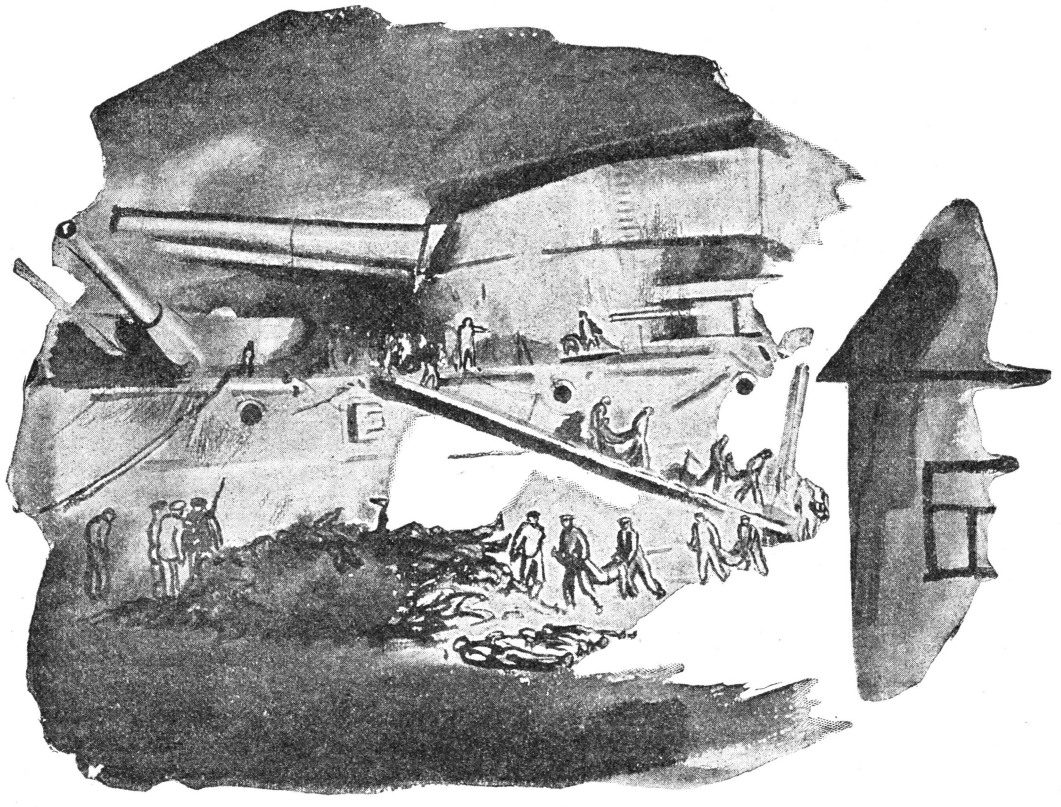
№ 2 тоже трещит и превращается в пыль от прикосновения. На 19 километров повернул он дальномер. Это было его последнее движение. Он тоже сделал, что мог. Все сделали, что могли.

Но английские суда открыли огонь на 21 километр. Два километра разницы! За два километра до неприятельских судов шлепались немецкие гранаты в воду. Дуэль с неравным оружием!

IX. 250 центнеров мяса

Люди из рабочей команды второго морского дивизиона толпятся в темноте в казематах и камерах крейсера. Словно посетители морга, они осторожно ступают, окидывая взглядом следы разрушения и мертвецов.

Морская вода смыла с лиц трупов выражение ужаса. Чуждо и отвратительно выглядят эти набухшие лица с выкатившимися глазами, вздутые животы, размякшая, осклизлая кожа.



Одно за другим выносят мертвые тела.

Трупный яд! Никто об этом не думает. Да и нет у начальства столько перчаток, чтобы снабдить ими весь экипаж. Люди то-и-дело подходят за водкой. Рядом с обер-лейтенантом у входной двери стоит боцман и наполняет чарку за чаркой.

Одно за другим выносят мертвые тела.

— Бери! Ну, что ты там?

— Тяжеленек!

— Иди сюда, бери за ноги. Эх, ты, шляпа!

160 мертвых тел! 250 центнеров мяса! Сверх того — железо, разбитые шкафы, выгоревшие стаканы снарядов, провиант из кладовой.

Перед судном, рядом со штабелем трупов, все выше и выше громоздится гора обломков. Железо, дерево, разбитое, раздробленное. Тут же рядом с трупами — кучка пыли и костяных осколков. Под влиянием воздуха и сырости она стала серой, похожей на карбидную слизь.

Таскай да запивай водкой!

— Не подносите только грязных рук ко рту! А то самих сейчас туда же в кучу придется складывать. Тут все отравлено гранатами! Пикриновой кислотой!

У лейтенанта в руке флакон одеколона. Он смачивает им лоб и держит у рта носовой платок.

— Этому хорошо болтать про пикриновую кислоту. С полным брюхом печенья и сарделек.

— У меня брюхо и без того полно кислоты от паршивой жратвы, что нам дают...

Одна сторона кучи освещена и видна с палубы крейсера. Другая погружена в темноту и кишмя кишит матросами, которые копошатся, как черви, отыскивая что-нибудь с'едобное.

***

Матрос с «Зейдлица» Дирк Бутендрифт вдвоем с товарищем таскает ящики и мертвецов.

— С меня довольно! Еще одного отнесем и давай драла отсюда! Пойдешь со мной на берег?

— Удастся ли пройти через ворота?

— Часовые нас пропустят. Давай вот еще этого.

— Молокосос!..

Морской кадет, лет семнадцати. Мальчишеское лицо раздуто, как пузырь.

— Я стоял с ним однажды на вахте,— припоминает Бутендрифт.

В тот момент, как они нагибаются, чтобы поднять мертвого кадета, чья-то рука хлопает Бутендрифта по плечу. Дирк оборачивается:

— Альвин Кебис!

— Здорово, Дирк! — Кебис пожимает ему руку. — Я хотел узнать, в какой башне находится твой пост. Мы стоим на рейде. Отпусков не дают. Я контрабандой улизнул с почтовым катером.

— «Принц-регент Луитпольд»,—читает товарищ Бутендрифта на фуражке Кебиса. — С «Луитпольда», с этой проклятой цепной собаки?!

— А мы как раз собираемся зашабашить и махнуть на берег, Альвин!—говорит Бутендрифт.

— Ладно, шпарим вместе! Я видел «Адмирала». Там, на погрузке работает. Его тоже захватим.

X. В чем дело?

На набережную, где пришвартован крейсер, под'ехали фургоны в две лошади каждый, нанятые морским управлением у какого-то угольного склада. Фургоны кое-как почищены, но их тип и обычное назначение всем известны. Матросы нагружают фургоны трупами до самого верха. Без барабанного боя, без тени торжественности. Это будет потом, на похоронах. Здесь работа, которая оценивается с веса.

Боцман Вейс стоит возле одного из фургонов. Он малость выпил, но держится прямо, как свеча. На нем лежит обязанность отмечать число погруженных тел. Дело немыслимое—многих пришлось собирать по частям. Все же он чиркает на листке черточку за черточкой, как автоматически действующий аппарат.

— Боцман, — говорит кто-то рядом с ним.

Пауль Вейс не поворачивает головы. Глаза его остановились. В его голове — клубок чудовищных спрутов-мыслей. Навязчиво встает все тот же вопрос:

— В чем дело?

Море и озаренная солнцем дружина морских богатырей, скованных на жизнь и на смерть стальным кольцом корабля...

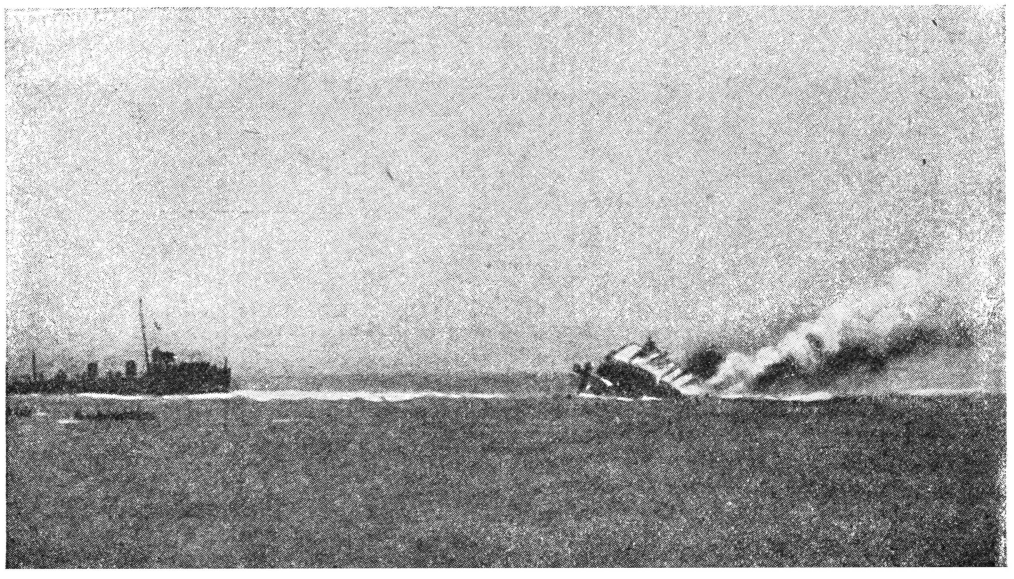
Адмирал де-Рюйтер — разве он не продолжал отдавать приказ за приказом и думать о спасении своих потрепанных кораблей, когда снаряд оторвал у него ногу и он лежал с раздробленными костями на палубе?

Мы скованы вместе! И только смерть может снять нас с поста, освободить от долга защищать один другого! Разве эта добрая старая традиция в наше время утратила силу?

Все эти лейтенанты, обер-лейтенанты— это не де-Рюйтеры. Слишком много на них блестящих пуговиц, духов и помады! Прилизанные пшюты, — чорт бы их побрал вместе с их квартирами на берегу и содержанками! Но старики, убеленные сединами командиры, адмиралы?

В верхушку, в высшее командование, боцман Вейс до последнего времени еще верил. Адмирал Шпее утонул со своими двумя сыновьями и двумя тысячами экипажа. Командир Мюллер с «Эдмена» оставался до последней минуты на своем разбитом вдребезги корабле. Если бы не было этого духа братской солидарности во флоте, разве он, Вейс, и его товарищи пошли бы в матросы, выдержали бы по девять, по двенадцать, по пятнадцать лет в тесных кубриках и казематах военных кораблей? Сносили бы они молча тяготы и лишения службы, бесчисленные унижения и издевательства начальства? Ни за что, чорт возьми!

А тут что? «Блюхера» бросили одного на растерзание превосходному неприятелю. Зачем таскали его с собой, когда он не мог за ними поспевать?



Гибель крейсера «Майнц» (снято с английского миноносца).

Господин адмирал дал сигнал повернуть обратно, когда «Блюхер» едва держался на воде, разбитый вдребезги и истекающий кровью из тысячи ран.

Люди, господин адмирал! Товарищи матросы были еще на борту. Они стояли позади своих орудий и посылали залп за залпом с дымящейся груды обломков. Ваши суда спаслись, господин адмирал! Но боюсь, что тут погибло что-то другое: дух, который ведет суда и флоты к победе...

Боцман Вейс продолжает чиркать черточку за черточкой на бумажке. Каждый пяток перечеркивает поперечной чертой, десяток подписывает под десятком.

— Боцман! А боцман!

Рядом с ним стоит «Адмирал».

— Что тебе, браток?

— Хочу на короткий часок улетучиться.

— Смотри только, не попадись. Да выпей стаканчик за этих вот молчаливых молодчиков... Постой, там за кучей стоит ящик виски, принеси-ка мне оттуда еще бутылочку.

«Адмирал» приносит ему бутылку. Затем исчезает вместе с Кебисом и Бутендрифтом в темной дали верфи.

XI. Митинг в кабаке

Вся территория доков и верфи огорожена высокой кирпичной стеной. У ворот — дневальные из команд, стоящих в доках судов. Каждые двадцать четыре часа одна команда сменяет другую. Дневальные обязаны проверять пропуска у матросов и судовой прислуги, проходящих через ворота. Офицеры не нуждаются в пропуске. Когда офицер проходит через ворота, дневальный вытягивается перед ним в струнку и отдает честь.

В этот день у ворот дневалит команда с «Мольтке». Ни у Бутендрифта, ни у Кебиса, ни у «Адмирала» нет пропуска. Проходя, все трое поднимают руки, показывая какие-то бумажки. Дневальный кивает головой. Взглянув на их затасканные рабочие блузы, он сразу догадался, что они «хотят улизнуть». Он пропустил бы их даже, если бы они показали ему спичечный коробок или пустую руку.

Недалеко от ворот находится погребок, низкий, но довольно просторный. Против двери — стойка. Вдоль стен — столики, в глубине устроена небольшая эстрада. За столиками сидят матросы и кочегары судов. Бутендрифт и «Адмирал» не единственные, пришедшие в рабочем костюме.

Вся троица забирается в одну из отдаленных комнатушек. Табачный дым кругом. Круглый стол. Многие сидят, тяжело опершись головой на руки. Один говорит — матрос с «Мольтке», — остальные слушают.

— Никогда не говорят нам, что делается. Шли мы полным ходом на запад. Догадываемся: наверно, опять демонстрация у английского берега, как шесть недель назад. Несколько гранат в ничем неповинный город — и до свиданья, поминайте, как звали! На этот раз вышло иначе. Утром, когда рассвело, мы увидали справа облака дыма, пять штук. Командир и офицеры смотрят в свои гляделки,— как вдруг в двух-трех стах метрах перед нами взлетает из воды гигантский фонтан — плюхнулась тяжелая граната! Тут мы уже поняли, какая обедня служится. Боевые крейсера, пять штук!

— Это было без четверти девять, — замечает Бутендрифт. — Я это знаю от одного радиста. Наш командир как раз в это время отправлял радио в штаб флота.

— А мы в это время мыли палубу и чистили медные ручки,—вставляет в свою очередь Кебис.

— А мы стояли на вильгельмсгафенском рейде и занимались гимнастикой под музыку.

— А скоро после десяти «Блюхер» получил первую пробоину. В десять сорок вся корма у него стояла в пламени. В одиннадцать дым шел уже из всех помещений, а они все еще стреляли!

— Вы только послушайте, братцы! — Кебис кричит на всю комнату. — Эскадра в бою! С превосходным неприятелем! А мы стоим в порту, моем палубу и чистим медь! «Блюхер» тонет! «Зейдлиц» стоит в пламени! Мы делаем гимнастику — как паяцы — под музыку! Что это за командование флотом?..

— Везде одно и то же! — кричит другой. — Хотя бы наша вильгельмсгафенская верфь — восемнадцать тысяч рабочих. А кто во главе? Морской офицер без всякой технической подготовки!

— А кильская верфь?

— А данцигская? А само адмиралтейство в Берлине? Весь наш флот никуда не годится. Выстроен только для парадов в мирное время. А как до дела — так придется дать себя расстреливать за бронированными стенами, как скотину...

Мало-по-малу в комнате становится тише. В зале слышен звон кружек, дребезжит голос кафешантанной певички.

— Как там у вас было дело на «Зейдлице»?

Все смотрят на Бутендрифта. Тот бросает взгляд на свои руки, измазанные от носки обломков и трупов. Он не любит говорить, но в конце-концов начинает:

— Мой боевой пост—в башне «Анна». Сами знаете, в такой башне сидишь, точно в огромном несгораемом шкапу, и ничего не знаешь, что происходит снаружи. Один только раз — только-что щелкнул затвор, как вдруг, словно гром небесный пронесся по всему крейсеру, так тебя всего и затрясло до могга костей — тяжелый снаряд попал, да как! Потом я в доке видел: попал сзади в борт, броню в одном месте на несколько миллиметров вдавил внутрь. А потом второй снаряд, от которого «Цезарь» и «Дора» сразу вспыхнули. Этот бацнул сверху—мы враз почувствовали, что дело дрянь. Точно кто здорово шлепнул крейсер по заднице — так и хлюпнулся он кормой в воду. Качнулся, опять поднялся. Потом раздается с мостика, как всегда: «Башня «Анна»! Вахтенный отвечает через рупор: «Башня «Анна». Все в порядке». А потом немного погодя: «Башня «Дора» не дает ответа...», «Башня «Цезарь» не дает ответа...»

А мы заряжаем и стреляем, заряжаем и стреляем, пока не дали команды: «Прекратить огонь! Стой, батарея, стой!» Вылезли мы из башни, видим: свет с другой стороны падает, чем прежде. Крейсер назад повернул и шпарит полным ходом. Англичан не видать. А нас всего три крейсера, «Блюхера» с нами нет. Кроме того, заметил я еще одно — звонкий гомон турбин точно охрип, точно придушен. Резонанс у судна совсем не тот, что всегда. Обе задние башни выгорели внутри до тла. Камеры с амуницией, третий отсек затоплены. Вахта кочегаров из котельной проходит по палубе. Никакого шума, подошвы не стучат. Все ходят, точно на

цыпочках, как-будто вся нижняя часть судна представляет собой одну каюту, где спит капитан... А в кубрике! Полтора десятка сидит нас за столом. Пятерых нехватает. Двое были в башне «Цезарь», один в «Доре». Про этих я и не спрашивал, а вот про остальных двоих — Пауля и того, из Гамбурга. «В третьем отсеке», — говорит кто-то. Кусок хлеба, который я только-что откусил, я так и не мог проглотить. Про тех в отсеке, что стояли в резерве, так и не подумали. Там и остались!

Бутендрифт за всю свою жизнь ни разу так много не говорил. Окончив, он продолжает сидеть, погруженный в свои переживания. «Адмирал» вспоминает, что сказал ему Пауль Вейс в напутствие: «Выпей стаканчик за этих молчаливых молодчиков». Он поднимает стакан и медленно, задумчиво осушает.

Остальные сидят неподвижно. Все молчат. Но вот Бутендрифт поднимает голову. И один за другим все словно просыпаются.

— Крейсер спасли. А людей...

— Пушечное мясо!

— И чего ради? Ради голого парада?

— Прилетел бы какой-нибудь чортов английский аэроплан и сбросил бы бомбу на флагманское судно! Прямо в каюту командующего!

— Нечего нам тут сидеть да плакаться, да английского летчика поджидать! Если бы меня спросили, так я бы сказал, что надо делать! Ни одна лопата не должна шевельнуться, когда в следующий раз опять только несколько судов заставят итти в наступление! Либо все, либо ни одно!

«Адмирал» вскакивает. Шрам у него на лбу, над левым глазом, похож на рубец от удара плетью.

— Наши суда никуда не годны, машины устарели, артиллерия недостаточно дальнобойна, руководство из рук вон плохо! А все эти господа, там наверху, воображают, будто только они все понимают, а у нас в голове — солома!

— Они только считают суда. Забывают, что воюют не суда, а люди! — вмешивается Кебис. — Все, что мы можем сделать, — это громко сказать правду — каждому корабельному кули, каждому кочегару раз'яснить, что творится!

— Так и сделаем!

— Тогда посмотрим!

— Только одну правду, ни слова больше! — требует Кебис. Он встает, надвигает фуражку на лоб. — Мне надо постараться захватить еще мой катер.

Остальные подзывают кельнера, велят принести пива и остаются еще немного посидеть вместе.

СКВОЗЬ ФАШИСТСКУЮ ЕВРОПУ

Очерк СКАЙФА *Иллюстрации ЭМГЕ*

В. Смирнов.

Электрик линейного корабля «Парижская Коммуна» Василий Смирнов — первый краснофлотец, которому удалось пересечь по суше всю Западную Европу. Он — первый, показавший советскую военно-морскую форму не в портовых городах Запада, а вдалеке от моря.

И Смирнов гордо пронес краснофлотскую бескозырку, на ленточке которой горят слова «Парижская Коммуна», сквозь фашисткую Европу, через Францию, Бельгию, Германию и Польшу.

В КНИГЕ больных Брестского военно-морского госпиталя есть, примерно, такая запись:

> «Смирнов, В., краснофлотец линкора «Парижская Коммуна» Краснознаменного Балтфлота СССР. Болен апендицитом.
> Принят 25 декабря 1929 г.
> Выписан 9 февраля 1930 г.

Что-ж тут особенного? Мало ли краснофлотцев лежит в госпиталях?

Дело в том, что госпиталь этот находится во Франции, в военно-морском порту Бресте. Дело в том, что советский военный моряк лежал во французском госпитале, и несмотря на все рогатки, которые ставили французские власти, все же Франция увидела представителя кораблей, совершавших тогда кругоевропейский переход.

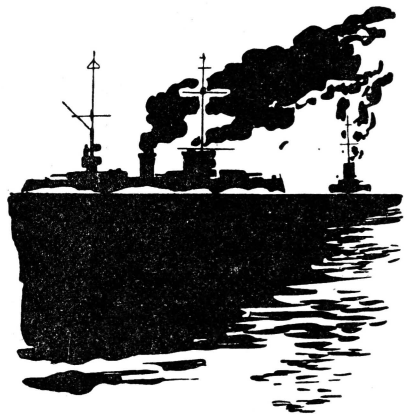
Читатель, вероятно, не забыл, что нашим краснофлотцам во время стоянки линейного корабля «Парижская Коммуна» и крейсера «Профинтерн» в Бресте не разрешили с'езд на берег.

Не разрешили! Зато за всех краснофлотцев побыл во Франции электрик Смирнов. Он пробыл во Франции около 50 суток. Не только в Бресте, но и в Париже. И не только во Франции, но и в Бельгии, Германии и Польше.

25 декабря прошлого года, в день выхода из Бреста наших кораблей, В. Смирнов внезапно заболел апендицитом. Требовалась срочная операция. А на корабле, да еще в качку, ее сделать нельзя И электрик «ПК» В. Смирнов за несколько минут до ухода кораблей был отправлен на последнем катере в Брест, в военно-морской госпиталь.

Там ему немедленно сделали операцию. Корабли ушли в океанский поход, а Смирнов остался в госпитале выздоравливать.

Смирнов не знает французского языка, он не говорит ни на каком другом языке, кроме русского. Сейчас он об этом жалеет. Знание французского или английского языка очень бы пригодилось.



Смирнов все же разговаривал со своими соседями по койке. К нему даже приходили гости, с которыми он кое-как об'яснялся. Но что это было за мученье! Какого неимоверного труда стоило ему составление самых несложных фраз.

Он имел два словаря: французско-русский и русско-французский. Если надо говорить — он брал эти словари. А говорить приходилось много: его забрасывали вопросами о Советской стране, да и он сам хотел побольше узнать о Франции.

Так вот — он брал словари. Открывал русско-французский, отыскивал нужные ему русские слова. Его собеседник прочитывал их значение по-французски. Затем француз набирал фразу по французско-русскому сбоварю, и Смирнов читал ее русский перевод. Ясно, что разговор не мог быть особенно оживленным и требовал большого терпения. Но все же, дополняя словарь жестами и кой-какими общеизвестными международными словами, они об'яснялись.

О Советском Союзе французские матросы имеют очень смутное представление. Многим из них, например, неизвестно, что Ленин умер.

Когда тов. Смирнов рассказал однажды, что у нас почти нет частных торговцев, французы были очень удивлены.

Немало изумления вызвало у них и наше колхозное строительство и организация бытовых коммун. Особенно трудно им было понять соцсоревнование и ударничество. В их мозгу не укладывалось повышение производительности и уменьшение расценок:

— Как это так, — волновались матросы, — хозяева и так умеют жать соки, а тут рабочие сами им в этом помогают?!

Смирнову стоило немало труда доказать им, что хозяевами заводов являются сами рабочие.

После этого французские матросы заявили:

— Да, у вас лучше, чем у нас!

Вообще же матросы во Франции очень интересуются политическими вопросами, но плохо еще в них разбираются.

Другое дело — рабочие. Здесь чувствуется некоторая политическая подготовка и знание того, что происходит в Советском Союзе.

Скучать Смирнову не приходилось. Его часто посещали рабочие. Они откуда-то проведали о том, что в госпитале лежит советский моряк и считали своей обязанностью всячески скрасить его одиночество.

Когда на сорок третий день Смирнов покидал госпиталь, его тепло провожали и больные и санитары.

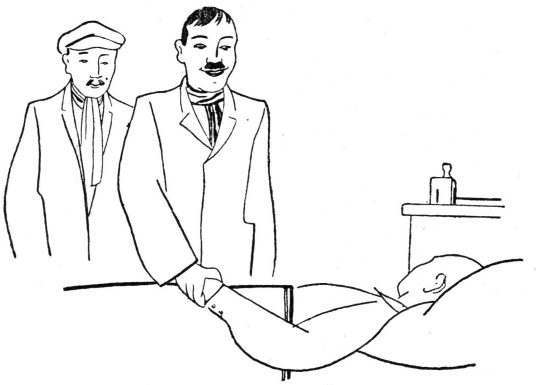
— Жалко, что вы покидаете нас, — совершенно искренне говорили они, когда Смирнов сменил больничный халат на краснофлотскую форму.

Из Бреста в Париж

Из госпиталя Смирнов вынес хорошее впечатление: к нему были внимательны и предупредительны. Эта предупредительность и большое внимание продолжались до того момента, как он сел в поезд, имея в кармане билет на Париж.

До вокзала его проводили санитары госпиталя. По пути они повстречали морского офицера. Санитары вытянулись и отдали честь. Смирнов встал в положение «смирно». Офицеру этого показалось мало: он потребовал, чтобы Смирнов отдал честь. Вмешались санитары, которым Смирнов в госпитале рассказывал о Красном флоте; офицер сердито повернулся и пошел дальше.

Санитары сильно подружились со Смирновым. Вначале они как бы побаивались его. Впоследствии они об'яснили — почему.



Смирнова посещали рабочие.

— Нам много говорят о том, что коммунисты — не люди, а звери. Но если все коммунисты такие, как ты, то значит нам врали.

Французские моряки думают, что в СССР живут одни коммунисты. Они никак не хотели верить, что Смирнов — беспартийный.

— Беспартийные не могут так говорить, — отвечали они ему, ты говоришь, как самый настоящий коммунист!

И каждый раз, подходя к койке этого «самого настоящего коммуниста», они тихонько напевали мотив «Интернационала». Этим санитары доказывали ему свою симпатию.

Внимательность к Смирнову проявлялась не только в госпитале. Она продолжалась во все время его пребывания во Франции. Но это была внимательность другого рода.

Почувствовал Смирнов ее сразу же, как только вошел на вокзал. Его остановил мужчина в штатском и повел в какое-то служебное помещение. Здесь сняли с него подробнейший допрос: где родился, служит, куда едет, возраст, рост, приметы и куча других сведений заполнили большой разграфленный лист анкеты. Все его документы самым внимательнейшим образом были пересмотрены, а его узелок перетряхнули с необычайной тщательностью.

А когда он вышел из этой комнаты, к нему опять подошли мужчина и женщина и вновь стали рассматривать его бумаги.

— Охранка, — решил Смирнов.

От Бреста до Парижа немного больше 300 километров. Поезд покрывает их очень быстро. Этот поезд имеет неприятную особенность — раскачивается, как корабль на хорошей волне.

В купе вместе со Смирновым сидели какой-то мелкий буржуа с женой и молоденькая девушка.

Девушка жалась в угол и болезненно морщилась. Видимо она была не совсем здорова.

Буржуа нещадно дымил большущей сигарой. Девушка несколько раз просила о чем-то этого незнакомого ей «месье».

Смирнов прислушался и больше по ее жестам, чем по словам, понял, что девушку укачало. Тогда он извлек словарь, выбрал фразу и пред'явил ее курильщику:

— Прошу прекратить курение!

— Тот полез в пузыря, — рассказывает Смирнов, — но я не отступал, и в конце-концов буржуй что-то пробурчал, но прекратил курение. Я предложил девушке свое место. Ну, а буржуй всю дорогу смотрел на меня волком, но курить не решался...

Поезд вкатился в Лионский вокзал в Париже. Не успел Смирнов выйти из вагона, как к нему подошли двое мужчин.

— Мосье Смирнов? — спросил один из них.

— Не совсем, чтобы мосье, но Смирнов, — ответил краснофлотец и в сопровождении своих новых «знакомых» вошел в помещение вокзальной охранки.

Два Парижа

Здесь Смирнова встретили двое—мужчина и женщина. Они были очень любезны. Усадив его, они стали интересоваться самыми мельчайшими деталями его жизни, будто он был не рядовой краснофлотец, а какая-нибудь большая знаменитость. Затем они стали рассматривать его и в профиль и анфас с видом больших знатаков искусства, замерших в лицезрении античной статуи в Луврском музее.

Через несколько минут пришла и его очередь рассматривать. Мужчина вынул из ящика стола груду фотографий мужчин и женщин и подал их Смирнову. Пе-

— Прошу прекратить курение!

ред ним прошла целая галлерея лиц, по внешнему виду — рабочих. Краснофлотец не понимал, зачем показывают ему эти фотографии. Мужчина учтиво пояснил:

— Нет ли здесь снимков лиц, с которыми встречался мосье Смирнов во время своего пребывания во Франции?

«Эва, куда гнешь, голубчик», подумал Смирнов и, быстро собрав фото, хотел вручить их охраннику, как тот стремительно вырвал их из его рук и спрятал в стол.

На пороге стоял приехавший встретить Смирнова представитель нашего парижского полпредства.

Охранники любезно раскланялись со Смирновым, и он вышел в сопровождении сотрудника полпредства на привокзальную площадь.

— Это Париж? — удивленно спросил Смирнов своего спутника, рассматривая облупленные, почерневшие с обвалившейся штукатуркой дома, напоминавшие дома ленинградских окраин времен самой злой разрухи. Его глаза скользили по этим домам, узкие израненные окна которых местами, вместо стекол, имели деревянные заплаты, а то и просто затычки из грязной рухляди.

Его взгляд скользил по панели, грязной панели, растрепанной, давно не ремонтировавшейся и по нищенского вида людям, устало шагавшим по этим панелям.

— Это Париж? — удивленно повторил Смирнов, перебегая глазами с дома на дом, с прохожего на прохожего.

Не раз он видел этот город, не раз любовался его стройными бульварами и красивыми зданиями, не раз рассматривал веселую, нарядную разукрашенную публику его улиц, когда после вахты сидел перед мелькавшим киноэкраном в коммунальном палубе линкора. На экране был совсем другой Париж—нарядный, веселый и жизнерадостный. А здесь убогие дома и голодные истощенные люди.

— Это Париж?

— Ну, конечно, Париж, — ответил его спутник, когда их обняла мягкая кожа полпредского автомобиля, — это рабочий квартал.

Автомобиль тронулся. Смирнов рассматривал улицы. Узкие, сжатые высокими мрачными домами улички, единственным украшением которых являются вывески многочисленных «бистро» — кабаков (их в Париже насчитывается более 20 000), постепенно сменялись широкими улицами с блестевшими, как хорошо надраенная медяшка, панелями и красивыми домами, с вереницами автомобилей и шумной толпой прилизанных мужчин и раскрашенных женщин, с громадными, в три этажа, окнами магазинов и замершими, как величественные памятники, полицейскими.

Так в первые же минуты пребывания в этой столице кутежей и мод познакомился краснофлотец Смирнов с двумя Парижами — с тем, который доставляет

много хлопот полиции и беспокоит призраками бунтов и восстаний сон разжиревших буржуа, — и тем Парижем, который он знал по кинокартинам и фотографиями в журналах.

После знакомства с сотрудниками полпредства и дружеской беседы с тепло встретившим краснофлотца нашим полпредом во Франции тов. Довгалевским, к Смирнову прикомандировали одного из сотрудников, которому было поручено ознакомить его с Парижем.

— В Париже пять с половиной миллионов жителей, он имеет величайшие сокровищницы произведений искусства, его площади и бульвары, его дворцы и соборы влекут сюда тысячи экскурсантов со всех концов мира.

Все эти об'яснения слушал Смирнов и запоминал, а когда его спутник закончил беседу, краснофлотец наметил несколько иной маршрут, чем тот, по которому осматривают Париж бездельники, привлекаемые в веселый город фокстротами и яркими огнями великосветских кабаков.

— Я бы хотел прежде всего побывать на кладбище Пер-Ляшез, у стены коммунаров, — заявил Смирнов своему проводнику.

Краснофлотец линкора «Парижская Коммуна» и не мог выбрать другого маршрута. Прежде всего **туда**, где стойко погибали парижские коммунары.

По следам Парижской коммуны

На кладбище Пер-Ляшез немало красивых надгробных памятников. Многие из них считаются образцами искусства. Ожившие под резцом скульптора глыбы мрамора привлекают сюда художников и искусствоведов; они подолгу застывают перед какой-нибудь мраморной мадонной, сквозь грустную позу которой проскальзывает игривость легкомысленной натурщицы с Монмартра.

Но есть на кладбище Пер-Ляшез один скромнейший памятник, не замечаемый утонченными любителями искусства, но вызывающий такую яркую гамму переживаний, какую не способны ощутить бездельничающие поклонники точеных ног и торсов. Все памятники кладбища баррикадой изящных линий и поз заслоняют скромную серую стену, вызывающую недоумение туристов, когда их посоловевшие от красот глаза упираются в тяжелую грубую глыбу, так не вяжущуюся с мадоннами и ангелочками.

Этот памятник не блещет красотой и изяществом линий, он прост и прочен, как кессон Днепростроя. Однако этот памятник — наиболее посещаемый уголок Пер-Ляшеза. Сюда приходят рабочие, и не для любований и показных восторгов. Здесь, у этой стены-памятника одной из прекраснейших эпох истории — героической борьбы парижских коммунаров заряжаются они энтузизмом борьбы.

Первым местом Парижа, которое посетил краснофлотец «Парижской Коммуны» Смирнов, и была стена коммунаров.

Митинг рабочих у стены коммунаров.

— Стена коммунаров,—говорит Смирнов, — произвела на меня неизгладимое впечатление. Я никогда не забуду этого памятника. Из всего, что я видел в Париже, ярче всего запомнилась мне эта стена.

Впечатление после посещения стены коммунаров было настолько сильно, что Смирнов стал обходить парижские магазины в поисках снимка с этой стены.

И всюду, куда он ни заходил, сначала долго удивлялись его желанию иметь этот снимок, а затем начинали предлагать фотографии всех наиболее красивых памятников Пер-Ляшеза, выволакивали груды репродукций с картин с изображением Наполеона I. Когда же Смирнов требовал именно стену коммунаров, продавец пожимал плечами:

— Простите, мосье, у нас нет такого фото!

***

Достаточно открыть соответствующий справочник, чтобы узнать, что в Париже 136 площадей и что почти все они связаны с каким-нибудь историческим событием. Внимание Смирнова задержалось только на нескольких из них.

Он был на Марсовом поле, которое в 1871 г. было избрано буржуазией для расстрела коммунаров. И здесь, на обагренной кровью борцов революции площади, взлетело высоко вверх величественное произведение современной техники — ажурная башня Эйфеля.

Видел Смирнов и здание театра Шатене, в котором творила свой жестокий суд буржуазия, возвратившись в обессиленный борьбой Париж. Партиями по 50 человек приговаривались здесь коммунары к смертной казни и немедленно отправлялись на расстрел. Этот суд знал только один приговор — «расстрелять».

Совершив путь по следам Парижской коммуны, краснофлотец носящего это имя корабля бегло осмотрел и другие достопримечательности города.

Он побывал во Дворце инвалидов, в котором с величайшими почестями хранятся останки Муссолини XIX века — Наполеона I.

Он осмотрел величественный Пантеон — склад костей прославленных деятелей буржуазной Франции. Это место так же, как почти каждый уголок Парижа, имеет связь с огневыми днями Парижской коммуны. Здесь, вокруг этого здания, разгорелись наиболее упорные бои за коммуну.

Бродя по Парижу, Смирнов хотел купить свежий номер коммунистической газеты «Юманите». Он старательно обходил все киоски в тщетных поисках этой газеты; ни в одном киоске ее не было. Не так-то легко раздобыть коммунистическую газету в буржуазном Париже.

Шлак

Что такое шлак? Мы знаем один шлак — остатки от горения каменного угля. Эти отбросы все же приносят кое-какую пользу. Они широко применяются в строительном и дорожном деле. Здесь речь идет о другом шлаке — человеческом, полезность которого равна нулю, а вредность несомненна

— Насмотрелся я этого шлака вдосталь, — говорит Смирнов, — жалкое произвел он на меня впечатление.

Этого шлака человеческого во Франции не мало, — весь, как говорят, «цвет» врангелевской армии, все уцелевшие осколки разбитых Красной армией во время освобождения Крыма врангелевцев. Смирнов не раз слышал между каким-нибудь истрепанным чистильщиком сапог и не менее жалким продавцом спичек разговор на довольно чистом русском языке. Всякий такой разговор густо уснащался такими словами, как «ваше превосходительство», «господин полковник», «ваше высокоблагородие» и т. д. и т. п.

Впервые Смирнов увидел одного из этих эмигрантов на вокзале в Бресте. Краснофлотец подошел к газетному киоску. Он хотел купить советскую газету. Устало согнувшаяся фигура продавца выпрямилась, и старый газетчик привычным жестом, разглаживая седые бакенбарды, вежливо спросила на русском языке.

— Что угодно вам, господин матрос?

Затем он очень долго извинялся, что в киоске нет советских газет и вместо них вручил краснофлотцу белые — «Возрождение» и «Последние Новости».

Суетливые движения делали его похожим на гостеприимную старушку, не знающую, как лучше услужить своему гостю. Он порывался что-то спросить и не решался. Несмотря на настойчивость краснофлотца, он решительно отказался взять деньги за газеты.

Таких безвредных эмигрантов Смирнов больше не встречал. Этот старик видимо примирился со своей судьбой. Больше же во Франции эмигрантов другого вида — кичливых, как индюки, злобствующих и злых на то, что бессильна их

— У нас нет фото стены коммунаров.

злоба, зарабатывающих гроши и с надменной гордостью отказывающихся от этого заработка, если узнают, что они должны работать для представителей Страны Советов. Эта категория — активисты «великодержавной России», верноподданные грызущихся из-за призрачного престола императоров-марионеток. Это — активные классовые враги рабочих и крестьян СССР, участники вредительских актов, которые организуют капиталисты против Советского Союза. Они бережно хранят планы совхозов и колхозов, клубов и бытовых коммун, то бишь, своих бывших усадеб и дворцов, разворачивая их по праздникам, сладко, до слез, мечтая о временах, давно ушедших, и строя планы «крестового похода» за бывшей собственностью.

Едва Смирнов вышел в сопровождении сотрудника полпредства из дома нашего представительства, чтобы начать осмотр Парижа, как он столкнулся с целой группой жалких, бессильно злобствующих эмигрантов. Немало их — бывших офицеров царской и белых армий — среди шоферов парижских такси.

Едва Смирнов и его спутник приближались к группе такси, как на всех них вспыхивали надписи:

— Занят!

Демонстрация? Смирнова очень смешили эти нахохлившиеся, как чванливые петухи, демонстранты безысходного бессилия. Что-ж, пусть себе демонстрируют

свою глупость! Шоферы-французы от этого только выигрывают.

Видел Смирнов и другую демонстрацию. Когда он был еще в госпитале, один из санитаров таинственно сообщил ему:

— Вашего самого главного начальника армии украли!

— Я сперва не понял, в чем дело, — рассказывал Смирнов. — А потом узнал, что «кража» произошла в Париже, и решил, что пропал какой-нибудь белый генерал.

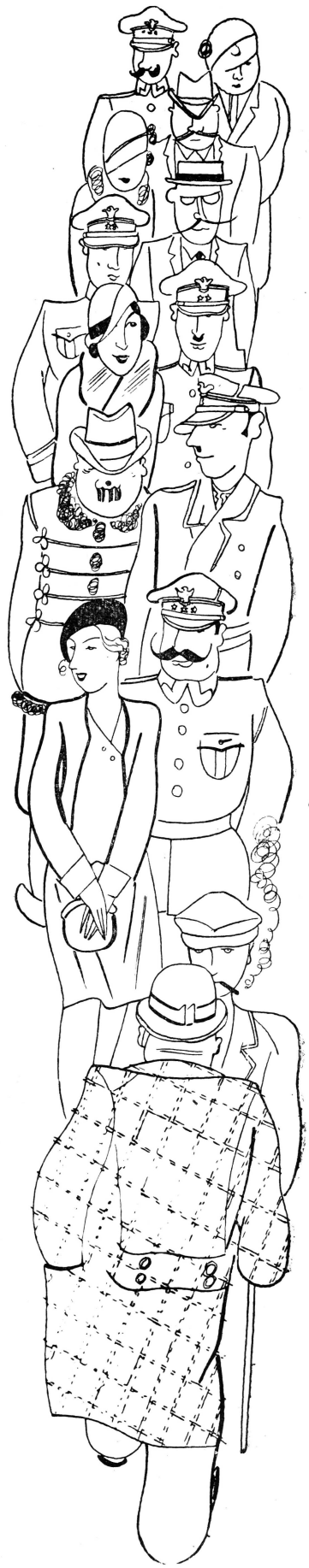
Так и оказалось. Это была хорошо известная читателю инсценировка похищения генерала Кутепова.

Так вот эта демонстрация и была устроена по поводу «похищения» Кутепова. Однажды, когда Смирнов был в полпредстве, он слышал, что ожидается какая-то демонстрация эмигрантов к зданию нашего полпредства.

Демонстрация сорвалась. Около здания полпредства не появились колонны белых офицеров. Парижская полиция помешала этой затее, устроив заслоны в прилегающих к полпредству улицах.

Но «голь на выдумку хитра». Автомобильное движение не было прекращено, и мимо полпредства зашуршали такси, пассажиры и шоферы которых размахивали кулаками и что-то выкрикивали по адресу полпредства.

Смотря на это проявление беззубой классовой злобы, Смирнов невольно вспомнил знаменитую крыловскую басню «Слон и моська». Очень напоминали эту маленькую, надрывно лающую моську боязливо проскальзывавшие мимо полпредства авто.



Париж — Негорелое

В Париже Смирнов пробыл три дня. Уезжал он вместе с несколькими сотрудниками полпредства, которые направлялись в Берлин. На вокзале их провожала почти вся советская колония.

Началась новая экскурсия — по Западной Европе. Краснофлотец наблюдал в окно вагона пейзаж северной Франции. Мелькали чистенькие деревушки, большие военные кладбища, еще не залечившие ран, нанесенных империалистической

войной, маленькие города. Поезд шел по местам ожесточенных боев войны 1914—1918 гг.

Бельгия, которую пересек поезд с юга на север, внешне мало чем отличается от Франции. Тот же стиль построек, такие же веселенькие, похожие на дачи вокзалы.

И резким контрастом этим двум странам является Германия. Во Франции и Бельгии на всем пейзаже чувствуется большая жизнерадостность и некоторый беспорядок. В Германии же во всем видна стройная система, обдуманная плановость. Деревни здесь вытягиваются в чопорные ровные линии, деревья по краям дорог стоят, как тщательно подобранные по ранжиру солдаты. Преобладающая окраска зданий — серая. Скучно, однообразно.

В Берлине поезд должен был стоять только 30 минут. Поэтому Смирнов мог посмотреть город только из окна вагона. И этот виденный из окна город оставил у Смирнова больше впечатлений, чем Париж, который он осмотрел довольно основательно. Солидные, в большинстве новой конструкции фабрики и заводы на окраинах, бесконечные ряды паутиной переплетающихся вокруг города рельсовых путей — все это создало у краснофлотца впечатление кипучего котла деятельности.

Здесь Смирнов распрощался со своими спутниками и дальше поехал один.

Когда поезд стал приближаться к польской границе и мимо окон потянулись бесконечные поля сельскохозяйственных районов, резко изменилось лицо пассажиров вагона. Французов и немцев сменили поляки.

С одним из них Смирнов имел довольно продолжительный разговор. Это был мелкий буржуа, в прошлом долго живший в России и не плохо говоривший по-русски.

Он очень интересовался Советским Союзом, расспрашивал краснофлотца об условиях работы на наших заводах, о

нашей жизни. Он сам бы непрочь поехать в СССР работать на какой-нибудь текстильной фабрике. В Польше жить очень трудно. Военщина наступает стране на горло. Не говоря уже о рабочих, даже собственники чувствуют гнет диктатуры Пилсудского.

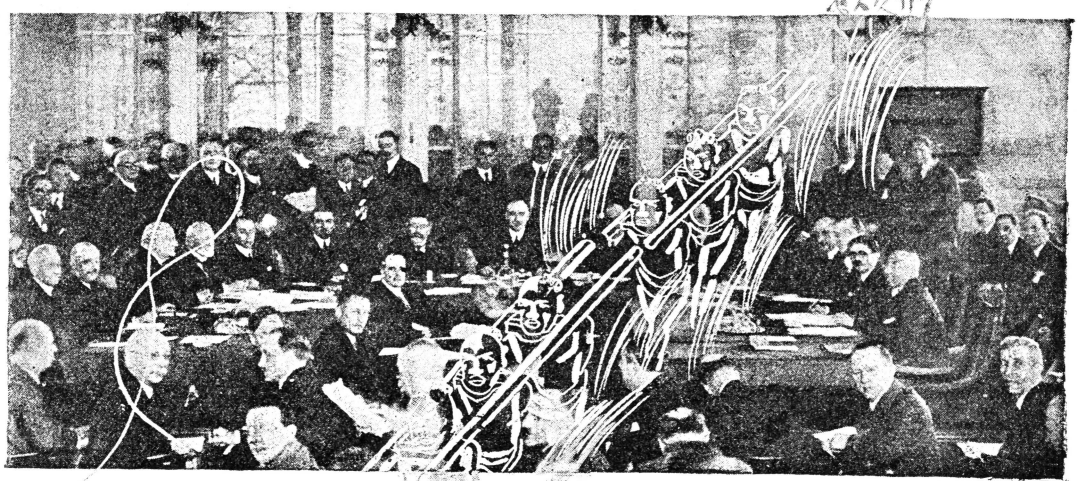
Позже, когда поезд стоял в Варшаве, Смирнов имел возможность лично обозреть прелести польского фашизма. Стоянка в Варшаве продолжалась час. Смирнов воспользовался этим, чтобы немного посмотреть столицу Польши. Он побродил по прилегающим к вокзалу улицам:

— Город хороший, чистенький, — говорит Смирнов, — только жить в нем должно быть очень тяжело. На каждом шагу — жандармы. Я сперва думал, что их там много только на вокзале, а оказалось, что и в городе шагу не ступишь, чтобы не натолкнуться на жандарма.

Последний этап до советской границы поезд прошел очень быстро. Станция Негорелое. Рубеж фашистской Европы. Пересадка в советский поезд.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

Из отчета Жозефа КЕССЕЛЬ



Торговля людьми существует в самом прямом и гнусном смысле слова. Рабовладение является признанным бытовым явлением на северном побережье Африки и в Аравии.

В Абиссинии рабство до недавнего времени защищалось законом. Но с момента вхождения «страны черных христиан» в Лигу Наций «либеральный» деспот негус Ра-Тафари торжественно отменил рабство в своей стране. К лицу ли просвещенному негусу, подписывающему пакт Келлога и имеющему пару аэропланов, гордо не признающему Советский Союз, хранить дикий пережиток средневековья? А на деле после опубликования нового закона ничто не изменились: рабство процветает.

Но Абиссиния — только заготовительная территория кадров рабов. Широкие рынки сбыта человеческой силы раскинуты по Аравии, по всем ее княжествам, управляемым Англией по мандату Лиги Наций.

Для исследования вопроса о рабстве француз-журналист Жозеф КЕССЕЛЬ организовал экспедицию, четыре месяца ездившую по северному побережью Африки, к аравийским подмандатным территориям. Исследование приходилось вести весьма деликатно, ибо в потворстве рабовладению оказались замешанными не только отдельные европейские «культурные» администраторы, но и державы в целом.

Кесселю удалось собрать богатый фактический материал. По вполне понятным причинам, он опубликовывает лишь часть его, избегая обнажать язвы, вскрывать вопрос во всей широте и делать нужные политические социальные выводы.

И Абиссиния, и Англия, и Франция, и Италия, владеющие или опекающие североафриканские и аравийские территории, не только знают, но и покровительствуют рабовладению. На ряду с лицемерными речами о высокой морали в Лиге Наций, цивилизованные страны пропускают караваны рабов, делая вид, что ничего нет, ничего им не известно и рабовладение... рабовладение кончилось еще во времена войны американского Севера и Юга.

Позор «цивилизованным» странам! Позор лицемерной Лиге Наций!
Отчет Кесселя, помимо его воли, приводит нас к этим выводам.

Это мои рабы

1

Я СИДЕЛ под низкими и изогнутыми ветвями фиговой пальмы у костра, в котором потрескивали сухие дрова, и смотрел, как пляшут рабы. Они плясали здесь же, у меня на глазах, совсем близко от меня. Их тела были изуродованы животным трудом, их лица были безобразны, толсты и черны, как окружавшая нас абиссинская ночь.

Они дико кричали, и огонь играл отблесками на их белых зубах и черных лицах.

В такую эпоху, когда каждый день стираются расстояния, когда платье, нравы, обычаи, законы, правила поведения становятся общими во всех странах и смешивают всех людей в один общий народ, мог ли я рассчитывать, что найду живым и цветущим этот страшный обычай, восходящий к глубокой древности человечества? Разве он не осужден всем цивилизованным миром? Разве с рабовладением не ведется борьба на суше и на море? И разве не стоит во главе этой борьбы сама Лига Наций?

Однако все же в этот вечер перед нами, в темноте Харара плясали подлинные рабы из племени Уаламо, Сидамо и Шанкала, на несколько часов скрывшиеся от своих хозяев.

Я напал на след. Что бы ни случилось, я пойду по этому следу до конца. Я увижу, как протекает рабовладение в XX веке!

Я считаю, однако, необходимым об'яснить, как родилась у меня идея расследовать вопрос о существовании невольничества в наши дни.

В 1927 г. я был в г. Амане, у трансиорданского эмира Абадалаха. Его резиденцию окружала сильно вооруженная стража черных людей. Я спросил эмира, к какому племени принадлежат его солдаты, и он равнодушно ответил:

— Это мои рабы! Они с того берега!

Не вспомню, что отвлекло мое внимание, но я не стал углубляться в дальнейшие расспросы, и слова эмира вспомнились мне лишь спустя года полтора, во время путешествия по Сирийской пустыне.

Я был в гостях у одного из туземных вождей недалеко от Деир-эс-Зора, на Евфрате. В углу палатки находилась дюжина черных статуй, опоясанных патронташами. Офицер-механист, сопровождавший меня в качестве переводчика, об'яснил мне, что эти люди составляют военный эскорт вождя и что они не слуги и не солдаты, а рабы, над которыми господин имеет право жизни и смерти.

Я тогда же заметил, что их лица по типу и по цвету похожи на тех, которых я видел у эмира Абдалаха. Я стал расспрашивать переводчика и узнал, что в Сирии каждый крупный и даже мелкий начальник имеет невольников. Одни несут домашние работы, других, более сильных, заставляют носить оружие и защищать господина. Все эти рабы доставляются с африканского побережья Красного моря.

В Бейруте я продолжал расспросы. Однако, к кому я ни обращался, все смеялись над моим неведением.

— Рабство существует повсюду, от Сирии до Аденского залива,—говорили мне.— Оно идет вплоть до самой Персии. И не местное рабство, а привозное! Человеческий скот доставляется из Судана, особенно из Абиссинии. Он приходит караванами. Его грузят на суда на африканском берегу и разгружают на азиатском, а потом направляют в различные места, где имеются рынки рабов. В Джедде, например, продажа невольников происходит под открытым небом, на базаре, так же, как продажа скота или вещей.

С тех пор мне хетелось исследовать вопрос. На эту тему написаны брошюры и книги, статьи и доклады, и из всей литературы явствует, что, несмотря на свое незаконное положение, рабовладение продолжает существовать, как в древние времена, и, несмотря на целый ряд препятствий и трудностей, на побережье Красного моря его можно еще встретить во всем его цинизме.

***

С незапамятных времен густые леса экваториальной Африки поставляли человеческое мясо для американских плантаторов, абиссинских военноначальников и арабских вождей.

Правда, Соединенные Штаты отказались от рабовладения, европейские народы понемногу, хотя и очень туго, упраздняют, верней, маскируют его в своих колониях и в странах протектората.

Но на побережье Красного моря есть три независимых и свободных государства, которые без прикрас сохранили всю жестокость первобытных времен. Это Абиссиния в Африке и Иемен и Геджас в Азии.

Абиссиния граничит с Суданом, который во все времена был классической страной

невольников. Там еще и по сей день сохранились целые провинции, населенные этими коренастыми, плотными и робкими людьми, каких от времен самой глубокой древности ловили и продавали в неволю. Абиссиния всегда держала их в рабстве и держит до сих пор. Однако Абиссиния, будучи сама центром потребления, была и продолжает быть центром вывоза рабов на внешний рынок, на азиатский берег, в Иемен и Геджас, откуда рабов караванами гонят в Недж, Трансиорданию, Сирию и Персию.

Но Абиссиния не имеет морской границы. Чтобы добраться до моря из Абиссинии, нужно пересечь французскую Сомали, или итальянскую Эритрею, или английский Судан. Работорговцы раньше не встречали никаких трудностей на этих путях. Лишь со времени великой войны, вернее, лишь за последние годы, им ставятся кое-какие препятствия: воинские отряды ищут их на суше, военные суда — на море. Но караваны проходят! Их ведут скрытыми тропинками к скрытым местам посадки и на азиатском берегу их стараются высадить незаметно, но дело не погибло от этого.

***

Мы выехали из Марселя 1 января 1930 г. и приехали в Джибутти 13-го. Из Джибутти идет узкоколейная железная дорога в Аддис-Абебу, столицу Абиссинии. Расстояние — 800 километров. Дорога лежит через пустыню, сменяющуюся густыми зарослями, и к концу подымается на 2600 метров над уровнем моря. Я пропускаю описание наших путевых впечатлений, как они ни были интересны: если бы начать описывать всю причудливость этих необыкновенных стран Востока, то нехватило бы и книги.

У меня была записка к одному старому мусульманину в Аддис-Абебе, который нажил состояние на торговле рабами. Я отправился к нему тайком, так как старался скрыть, по мере возможности, истинную цель нашего путешествия как от абиссинского правительства, так и от французской миссии.

Торговец жил на окраине города в прекрасном доме, окруженном эвкалиптами и пальмами. Это спокойный, уверенный, но осторожный старик. Он довольно прилично говорит по-английски, и это значительно облегчило наш разговор, так как вряд ли он допустил бы переводчика.

Караван рабов.

— Я больше не торгую рабами! — сказал он мне. — У меня есть несколько своих, как и у всякого.

— Как у всякого?! — воскликнул я. — Даже в самом Аддисе? Но, ведь, приказ негуса!..

— Конечно, конечно!—заметил старик.— Однако каждый начальник, — а их здесь не мало, — имеет рабов. Даже самый ничтожный! Взгляните-ка на начальников, как они ездят верхом на мулах по городу. Позади шагают коренные абиссинцы-воины, держатели опахал, слуги, носильщики, а затем идут гонцы. Присмотритесь к гонцам. Разве они похожи на свободных людей? Нет. Это рабы! Удрать они не могут. Раб никогда не успеет добежать до судьи негуса, потому что его перехватят по дороге и отвезут назад к господину. Впрочем я вам не советую расспрашивать здесь, в Аддис-Абебе. Здесь мы все же близко от Лиги Наций, членом которой состоит наш негус. Кроме того здесь есть европейские миссии. Здесь вам ничего не скажут или скажут неправду.

Старик несколько секунд помолчал, отпил немного кофе и сказал:

— Вы пришли ко мне от моего друга Абд-эль-Хаи, и я направлю вас к моему другу Саиду в Хараре. Мне кажется, что он что-то готовит...

Харар! Я знал, что этот город, столица провинции того же имени, находится всего в 10 километрах от Хараузэ, где нас ожидал наш проводник, отуземившийся француз Монфрей, известный в этой стране под именем Абд-эль-Хаи. Это он и дал мне рекомендацию к старому работорговцу.

Совпадение заставило нас настолько торопиться, что за обедом я попросил у негуса предоставить нам аэроплан, в чем он нам не отказал. На личной службе у негуса состоят два французских авиатора — Майе и Кориже. Они с радостью взялись перевезти нас, и на рассвете мы вылетели из Аддис-Абебы. Один из моих спутников, капитан Лябляш, сел в аэроплан Кориже, а второй, доктор Пэйре, вместе со мной в машину Майе. Сидя на чемоданах, мы смотрели, как под нашими ногами проносились девственные заросли Аваша, которые учебники географии заселили леопардами, жирафами и гиппопотамами. Спустя два часа мы снизились в Дире-Дауа. По железной дороге надо было бы ехать двое суток. Небольшая порча радиатора несколько задержала нас на высохшем русле реки, которое послужило нам аэродромом. Белое и черное население города все прибывало и прибывало и окружило нас тесным кольцом. Пришел также какой-то испанский миссионер. Он прожил 30 лет в Абиссинии и дрожал от волнения, впервые увидев аэроплан.

Шел небольшой дождь, когда мы снова вылетели. Тучи висели низко. Мы проскользнули между двумя горными вершинами и очутились над долиной Дире-Дауа, где раскрылся чудесный вид. Дождь кончался, и под нашими ногами развертывалась красная и зеленая земля, испещренная озерами и деревушками. В глубине горизонта подымалась вершина, достигавшая 3000 метров, а над ней дрожала еле видимая радуга. Я был зачарован прекрасным зрелищем, когда внезапно почувствовал, что мы снижаемся. Взглянув вниз, я увидел, что мы кружим над аэродромом. Но что за странный аэродром! Он перекинулся по обеим склонам горы, как седло. На самой вершине была разбита палатка, вокруг которой кишело несчетное множество людей в белых одеждах. Они с волнением смотрели на впервые показавшиеся над Хараром аэропланы. Всюду были натыканы флаги. Майе взглянул на нас с тревогой: как тут снизиться? В это время второй аэроплан проскочил под нами и ткнулся носом в землю у самого края обрыва.

Впрочем, через минуту мы убедились, что и Кориже и Лябляш остались невредимы. Лябляш, едва вылезши из-под машины, стал щелкать фотографическим аппаратом.

А мы не рискнули снизиться и вернулись в Дире-Дауа.

На другой день мы с Пейре добрались до Харар на мулах. Лябляш и Кориже, целый день чинившие аэроплан, ожидали нас во французском госпитале, у доктора Жукля, который борется в этой стране с дизентерией, оспой и тифом. Французский госпиталь, доктор и его жена с первой же минуты очаровали нас радушием и гостеприимством. Однако мы здесь же увидели картину, которая поразила нас своей молчаливой выразительностью.

***

Уже спускался вечер, когда мы с доктором Пейре, изнуренные целым днем езды на мулах, под'езжали к стенам Харара. Доктор Жукля выехал к нам далеко навстречу.

— Вас, конечно, пропустили бы и так, но пришлось бы долго ждать, — сказал он.

Действительно, гордские ворота были уже на запоре. Их обычно запирают, едва солнце начинает садиться, и открывают на рассвете. Доктор Жукля, не сходя с лошади, сильно постучал. Заскрежетали замки, загрохотали засовы, и при свете небольшой плошки мы увидели в нишах по обе стороны ворот караульную команду. На стенах висели ружья и патронташи. Доктора из французского госпиталя знают все в Хараре. После нескольких слов приветствия начальник поста пропустил нас.

В это время среди нас появилась какая-то робкая фигура. Человек был обнажен по пояс. Слабые блики плошки играли на его черной коже. Он задыхался, и было видно, что он пробежал немалое расстояние.

— Скажите, что он со мной, — бросил Жукля своему переводчику.

Незнакомца пропустили. Он быстро поцеловал доктору руку и тотчас исчез в ка-

Просвещенный негус Тафари подписывает пакт Келлога. Это нисколько не мешает ему, как, впрочем, и европейским державам в своих колониях и подмандатных территориях, делать вид, что ему ничего не известно о широко распространенном в его стране рабства.

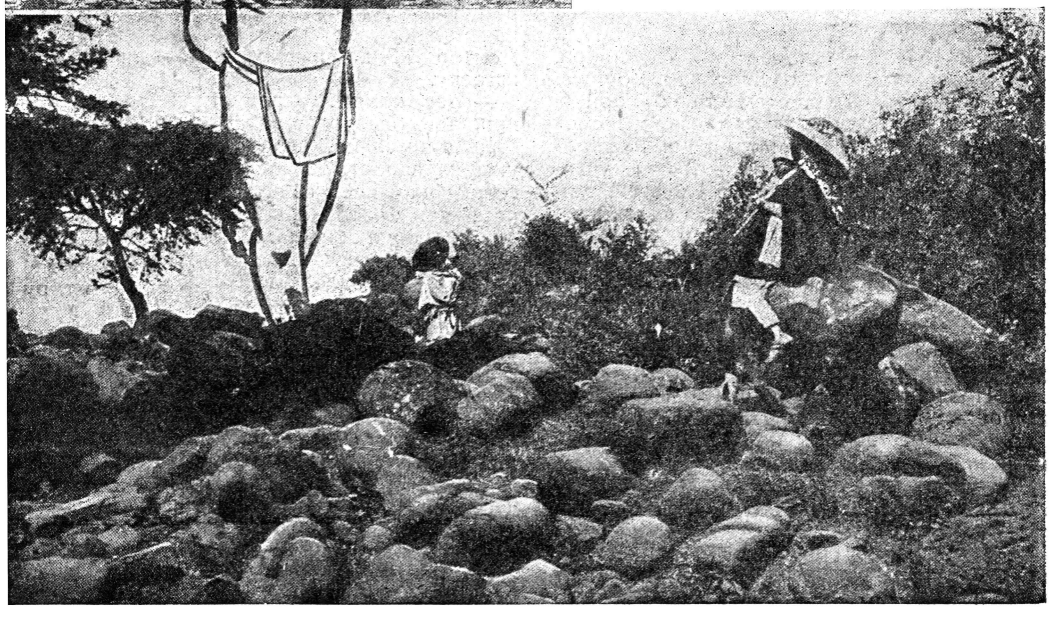
ком-то темном тупичке. Наши мулы осторожно спускались по плитам, которыми уложены кривые и грязные улички Харира. Я спросил доктора:

— Зачем вы это выдумали?

Он повел плечами и спокойно ответил:

— Я спас этого несчастного по крайней мере от 20 палочных ударов. Это какой-нибудь раб. Он, вероятно, заснул на дороге и опоздал к закрытию ворот. Если бы хозяин вечером не досчитался его, было бы плохо.

На другой день мы завтракали у Франжипане, итальянского дипломатического представителя. Должен сказать, что за все путешествие я не встречал таких культурных и образованных людей. Он с одинаковой осведомленностью говорит о последних книгах, вышедших в Европе, и о древних рукописях коптских монастырей. Он не только говорит, читает и пишет на местном языке, но провел также три года в неизученных областях северной Абиссинии. Мне страшно не терпелось расспросить его о рабовладении, но, как я уже говорил, мы поставили себе за строгое правило не обнаруживать никакого специального интереса к этому вопросу. Однако разговор сам по себе перешел на него. Я заметил среди слуг, которые подавали за столом, черного мальчугана лет 12. У него были живые глаза, он был ловок и подвижен, а желание казаться важным и торжественным придавало ему немного комичный вид. Я спросил хозяина, где он нашел этого маленького слугу.



Франжипане ответил самым простым тоном:

— Это — раб! Мне подарил его Ра-Аилу, самый могущественный из владетелей севера...

Повидимому на наших лицах выразилось изумление. Но Франжипане весело рассмеялся:

— Успокойтесь, — сказа лон, — я не обращаюсь с ним, как с рабом! Ра подарил мне даже пару малышей, но я тотчас предоставил им свободу. Один уехал, а второй предпочел следовать за мной. Если он будет так же предан, я возьму его с собой в Италию.

— Значит, несмотря на вступление Абиссинии в Лигу Наций... — одновременно воскликнули Лябляш и Пейре.

Доктор Жукля и Франжипане обменялись взглядами, полными снисходительности к нашей наивности и невежеству. Итальянский дипломат сказал:

— Вы видели негуса Тафары и могли заметить, что он отличается мягким характером и не похож на своих сановников. Но негус — единственный человек во всей стране, придерживающийся мало-мальски современных взглядов. Между ним и Абиссинией разыгрывается драма, которая обычно разделяет реформаторов и отсталые народы. Самое малейшее нововведение наталкивается на тупое непонимание и нередко вызывает бунты.

Далее итальянец рассказал нам, что город Харар представляет собой личную собственность негуса. Харар раньше принадлежал арабским шейхам, затем египетским принцам, затем здесь стоял английский гарнизон, и, наконец, город был завоеван отцом негуса Тафары — Ра-Махоненом.

— И вот в этом личном поместье негуса вы едва не заплатили жизнью за местные способы устройства аэродрома. Можете представить, что творится во владениях ревнивых мелких князьков, царствующих на расстоянии двух месяцев ходьбы от столицы. Влияние негуса распространяется очень и очень медленно, в особенности в отношении рабства. Это — вековой обычай. Абиссинцы очень воинственны. Вся их история — непрерывные войны и завоевания. Здесь еще сохранилось много мелких князьков-феодалов, а вместе с феодализмом сохранилось и рабство. Страна очень разношерстна по составу населения, и некоторые племена отстали больше других. Племена эти живут в западной Абиссинии, на границе с Суданом. Это племена Уаламо, Сидамо, Шанкалла. Они и поставляют людской скот.

Франжипане улыбнулся.

— Извините! — прибавил он, — что я так спокойно рассказываю об этих вещах. Приехав сюда, я был не меньше удручен, чем вы. Но ко всему привыкаешь!

И я увидел Харар в его истинном свете.

Город и провинция представляют абиссинскую колонию. Завоеватели живут здесь лишь в качестве чиновников и солдат. В их тени прозябает коренное население — горожане и крестьяне, затем идет темное стадо рабов. Рабов встречаешь повсюду: в примитивном геби-фитиорари — дворце губернатора, на базарной площади, на извилистых и грязных улицах, у городских ворот. Они копают землю, подметают дворы, носят дрова и воду, растирают в муку зерна дурро. Их можно узнать, с первого взгляда Их отличит даже иностранец, пробывший здесь самое короткое время. Конечно, на африканском берегу Красного моря все племена чернокожи, но никогда нельзя смешать абиссинца, с его энергичными чертами лица, или грандиозного сомалийца, или дикого данаки, или медлительного гала с теми несчастными, которые бродят в Харере и его окрестностях. Их выдают не только особые физические признаки — приплюснутые носы, характерные губы, но и жалкие лохмотья и еще больше их манера держать себя, — их робкий и запуганный вид. Они всегда уступают дорогу, их ищущий взгляд не смеет остановиться на свободном, их руки инстинктивно делают движения защиты от удара, которого они ждут всякую минуту. Так и чувствуется, что никакой закон их не защищает. Их иссохшие губы говорят о вечном голоде, их взгляд — о постоянном страхе. В побежденном городе они покорное племя невольников.

Как проникнуть в их быт, как познакомиться с их жизнью?

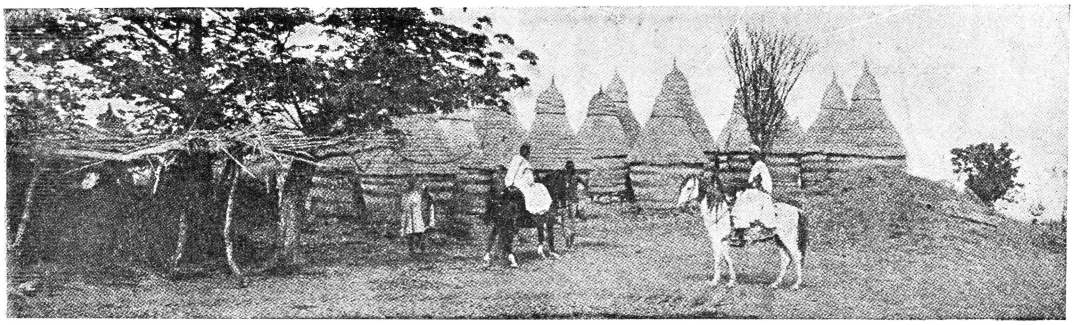
Нам помог Монфрей.

2

Километров в десяти от Харара находится маленькая деревушка Хараye. Собственно это все лишь несколько конусообразных шалашей, но они так расположены, да и природа вокруг настолько живописна, что все вместе имеет очень приветливый и уютный вид.

Поблизости от этой деревушки Монфрей возделал небольшой участок земли и построил себе дом, куда приезжает отдыхать после своих загадочных и таинственных дел на Красном море и в абиссинских джунглях. Это, пожалуй, один из самых прелестных уголков в мире. В тени банановых пальм и кофейных деревьев течет ручей, который Монфрей собственными руками отвел к себе в сад. В воздухе реют громадные ястребы и пестрые попугаи и свистят дрозды. По вечерам иногда приходит из Харауе колдун, с горящими глазами и развевающимися волосами. Он лечит от лихорадки, выжигая на теле больного знак креста раскаленным железом. Иногда слышен вой гиены, но Монфрея это не трогает: он невозмутимо играет на клавесине старые морские песни и рассказывает необычайные истории из своей жизни.

Дня через два после нашего приезда мы как-то заметили, что у окон стал собираться



Негритянская деревушка — одна из баз работорговцев.

народ. Первой пришла древняя, болезненного вида, оборванная старуха и села на берегу ручья. Затем явилась громадная женщина помоложе и также молча села на корточки рядом со старухой. Затем пришли трое мужчин с громадными ноздрями, с толстыми губами и стали рядом с женщинами. Монфрей делал вид, что не замечает их. Но мы уже узнали в них, — по одежде, по жестам, по всей повадке, по всему их виду, — людей из той категории, которых мы видели в Хараре под тяжелым знаком рабства.

— Невольники! — воскликнул Ляблят и побежал за фотографическим аппаратом.

— Как это тебе удалось их собрать? — спросил я Монфрея.

Он улыбнулся и ничего не ответил. Монфрей любил таинственность. Он глазами пересчитал странных гостей и, повидимому, нашел, что их достаточно. Тогда он молча пригласил нас следовать за ним и вышел во двор. Тотчас все глаза уставились на нас. Я еще никогда не встречал людей с таким бессмысленным, я бы сказал неосмысленным выражением. Одни только робкие и покорные жвачные животные могут дать кое-какое представление о выражении этих громадных зрачков. Было очевидно, что эти люди с одинаковым безразличием ожидали от нас и хорошее и дурное. Одни из них были тощи, как скелеты, другие жирны; одни были молоды, другие стары. Старуха трясла головой, громадная негритянка гладила с омерзительной животной похотью свои громадные, висящие груди; другая, бритоголовая, была похожа на гориллу. Тут же стоял черный великан с большим, наивным и хищным ртом. Рядом с ним дрожал в лихорадке другой и обнажал бледные десны. На земле неподвижно лежал болезненный ребенок и с ужасом смотрел на наши белые лица. Все, — и мужчины и женщины, — были обнажены до пояса. Губы, носы, низкие лбы, животный вид отмечали их так же четко, как некогда клеймо отмечало каторжников. Это люди из племени, которое из поколения в поколение давало невольников. Их похищали, били и продавали в неволю. Они — резервное стадо человеческого скота: мужчины для тяжелого труда и женщины для похоти победителей, которые с криками торжества поджигают деревни и угоняют жителей и их стада.

Монфрей сказал им несколько слов, которых мы не поняли. Мы только заметили, как у всех в глазах вспыхнул огонь нечеловеческой жадности. Лихорадочный перестал дрожать, великан оскалил хищные клыки, женщина, похожая на гориллу, облизнула толстые губы большим красным языком, малыш заскрежетал зубами и даже больная старуха встала. Затем раздался взрыв криков и смеха, и все эти лица, доселе робкие и сонливые, стали выражать какую-то беспредельную, стихийную радость. Монфрей направился к конусообразной соломенной хижинке, в которой помещалась кухня. Невольники последовали за ним, воя и рыча от удовольствия.

У хижины к дереву был привязан громадный абиссинский бык с лирообразными рогами и мясистой шеей. Я заметил его еще утром, но тогда я не понял...

Из шалаша вышел повар Монфрея и передал одному из невольников громадный нож. Невольник одним прыжком очутился у животного, которое стало дрожать и испуганно замычало. Нож сверкнул у сонной артерии. Я закрыл глаза. Раздалось ужасное, долгое мычание и шум падения.

В первую минуту я хотел удрать, но необычайное зрелище развернулось перед моими глазами и приковало меня к себе. Рабы гурьбой бросились к быку. В несколько мгновений шкура была сорвана с него голыми пальцами, и куски кровавого, дымящегося мяса стали переходить из рук в руки. Красные губы и теплое мясо слились в одно, челюсти трещали, глаза бегали в состоянии безумного экстаза. Старуха и ребенок, как наиболее слабые, не сразу могли протолкаться к туше. Когда это удалось им, на земле валялась только одна требуха. Я видел, как они схватили кишки и с звериным наслаждением стали их есть, выдавливая из них экскременты.

Темнело. Стали слетаться хищные птицы. Легкий ветерок веял над Харауе. Невольн-

ники расселись группами в саду Монфрея, и было слышно в темноте, как кости трещали под их могучими зубами.

Мне казалось, что пришло время спокойных бесед, и я попросил их через Монфрея рассказать о себе. Они были счастливы,—им казалось непривычным человеческое обращение. Они сели на корточки, им принесли сладкого чаю, и великан сказал, грустно глядя на угольки, которые умирали в зале:

—Я — с Тигра. Я родился рабом одного воина. Я не знал ни отца, ни матери. Я всюду следовал за моим господином. Он был убит в бою одним абиссинским солдатом. Теперь я принадлежу этому солдату.

— Я не помню больше, откуда я родом,— сказала старуха.—Давно-давно у одного большого леса, каких не видно в этой стране, горела деревня. Какие-то люди, которые пришли с криками, увели меня. Я ушла с ними далеко-далеко, и мне было трудно. У меня было много господ и много детей. Я уже не помню сколько. Господа меня продавали, а детей отбирали.

А великанша, утратив всякую похотливость, тоже сказала почти детским голосом:

— Я была совсем ребенком и играла в хижине моих родителей в стране Сидамо. Дверь была открыта, какая-то рука схватила меня за шиворот. Я очутилась на лошади. После долгого перехода я попала в Аддис. Мой последний господин приехал жить сюда в Харар. Когда я была моложе, мои господа брали меня часто к себе в постель.

Потом по очереди говорили все остальные. Это была все одна и та же история с небольшими вариациями: воспоминания о лесах, о похищениях, о бесконечных переходах, заканчивавшихся рабством в Хараре.

— Нравится ли вам здесь? — спросил я Монфрея.

Они стали отвечать все наперебой.

— Нравится, нравится!—закричали они.— Мы вечно голодны и вечно работаем. Мы рубим дрова и бьем камень. Когда господин недоволен или пьян, он наказывает нас палками. А когда он совсем разозлится, то подвешивает нас за ноги над огнем, в который насыпано бербери.

Я содрогнулся. Мне доводилось испробовать национальное абиссинское блюдо «ват» — фрикасе из барашка или цыпленка с бербери. Бербери — это страшный красный перец, рядом с которым индийское карри или кайенский перец кажутся сладкими. И этих несчастных заставляют вдыхать испарение бербери, да еще будучи подвешанными вниз головой!

Я продолжал расспросы.

— Есть ли твердые цены на вас? — спросил я.

— О, нет! Нас слишком много. Нас продают за сколько случится. А если хозяин разорится, нас разбирают кредиторы.

— Вступаете ли вы в браки?

— Да как же это возможно? — воскликнула одна из женщин. — У нас не может быть брака! Мой муж принадлежит другому господину. А если мы и оба принадлежим одному и тому же, то мы можем быть проданы порознь. И дети в моем чреве не мои.

***

Я заснул лишь на рассвете. Так как невольникам в чай подлили вина и коньяку, то они смеялись и пели, хотя утром их ждало наказание за то, что они не ночевали дома.

В соседнем дворе

Оргия вокруг зарезанного быка убедила нас. Все, что в Адисс-Абебе скрыто от постороннего наблюдателя, проявляется в Хараре во всей откровенной наготе, и здесь каждому становится совершенно очевидным, что в Абиссинии рабство существует в наши дни, как тысячу лет тому назад. Человеческие существа, — пускай культурно отсталые, но все же человеческие существа — являются предметом купли-продажи. Они не имеют никаких прав, у них нет ничего, кроме обязанностей. Хозяева кормят их, как пожелают, их подвергают ужасным наказаниям по кодексу, который регулируется только личным усмотрением. Рабы не могут вступать в браки, их дети им не принадлежат.

И против этого положения нет абсолютно никаких законов. Абиссинский суд не принимает жалоб от рабов. Молчаливое соглашение между судьями, которые сами являются собственниками человеческого мяса, и прочими рабовладельцами фактически аннулирует лицемерный указ негуса об освобождении рабов. Этим несчастным не отстается даже и такого выхода из бедственного положения, как бегство, так как большинство из них были похищены в раннем детстве, не помнят своей родины и им просто некуда бежать. У них остались туманные воспоминания о лесных зарослях, о соломенных хижинах, — вот все, что они знают о своем происхождении. А тем, которые сохранили более точные воспоминания понадобились бы долгие месяцы пути, раньше чем они могли бы добраться до родины.

Впрочем, если раб, подталкиваемый отчаянием, даже пойдет на тяжелый риск и бежит, то далеко ему не уйти, — внешность, выдаст его: каждый в Абиссинии знает, что мужчины и женщины с негритянским лицом не могут быть свободны. Они могут бродить по улицам города или в окрестностях деревни лишь в том случае, если известно, кто их хозяин. Но если покажется какой-нибудь

шанкалла или сидамо или уаламо, хозяин которого неизвестен, его сейчас же задерживают и начинают допрашивать. Если он назовет хозяина, его сейчас же отправляют на старое место: если же он скажет, что у него хозяина нет, он становится рабом того, кто его задержал.

И многие беглые рабы пускаются на эту хитрость: они рассчитывают, что, быть может, новый, неизвестный хозяин будет менее жесток, чем прежний. Тогда тысячи опасностей, на которые они шли, быть может, принесут им хоть какое-нибудь облегчение. Но этот расчет редко оправдывается: обычно новый хозяин бывает ничуть не лучше прежнего.

Рабы на полевых работах.

Я узнал это за несколько дней пребывания в Хараре и Харауе. Среди разговоров на посторонние темы я расспрашивал рабов, крестьян-гала, мусульман, европейцев и, наконец, абиссинских военачальников. Рабы жаловались, крестьяне и горожане высказывали жалость, симпатию, безразличие или презрение — соответственно расе и социальному положению, но все подтверждали то, что мне стало известно.

И все это происходит на расстоянии одного дня пути от железной дороги, связывающей Аддис-Абебу с Джибутти, и в провинции, принадлежащей лично негусу, т. е. единственному человеку в Абиссинии, который, — по крайней мере на словах, — желал бы смягчить положение невольников.

Можно догадаться, каково положение невольников в глубине страны, в районах, подчиненных феодальным князькам-самодурам, например в Годжаме, где царствует сатрап Ра-Аилу, или на границах Судана, где солдаты считают себя собственниками всего населения. В этих местах сильные князья и воины владеют на правах полной собственности тысячами рабов. Там путь экспедиций отмечают трупы невольников, умерших от голода, утомления и дурного обращения. Несколько путешественников, как, например, доктор Жорж Монтобан, майоры Афель и Дасли, а также Шренс, отметили это в своих книгах. Все, что я и мои спутники могли слышать, и то, что нам довелось видеть, подтверждает сообщения этих авторов. Ничто не изменилось на берегах абиссинских рек, в горах, долинах и в глубине абиссинских лесов. Как и сотни лет назад, львы и леопарды подстерегают у водопоя газель и дикую козу и, как сотни лет назад, более сильные люди обращают в рабство менее сильных. В самом Хараре, где имеются телеграф и телефон и где сыновья абиссинских сановников, благодаря миссионерам, говорят по-французски, я никогда не замечал у моих собеседников ни малейших признаков возмущения или хотя бы осуждения, когда разговор касался рабовладения. Там никому и в голову не приходит, насколько чудовищен этот обычай.

Мы были приглашены на обед к знатному молодому человеку, отец которого укрощал восстание где-то в провинции Тинья. Молодой человек производил очень симпатичное впечатление. Он прекрасно говорит по-французски и старался принять нас как можно лучше. У порога его дома стояли вассалы с ружьями в руке — это их единственное занятие. Будучи по происхождению коренными абиссинцами, они не могут в этой завоеванной стране заниматься никаким другим ремеслом, кроме военного. Суетливые невольники проводили нас к господину. Обед был сервирован по-европейски, т. е. к столу были поданы тарелки и приборы. После обеда мы перешли в салон, который выходит во двор.

В Хараре дворы расположены позади домов и соприкасаются друг с другом. И вот из соседнего двора мы в вечерней тишине услышали тихие, сдавленные, жалобные стоны.

Сначала мне показалось, что стонет издыхающее животное, но внезапно раздался сильный, душераздирающий детский крик.

Наш хозяин повел бровью, сказал что-то одному из своих людей, и тот удалился. Мы услышали еще несколько жалоб, потом какие-то пререкания и звук ударов, а затем по ту сторону стены все смолкло.

Наш хозяин сказал нам самым любезным тоном:

— Простите, пожалуйста! У моего соседа несносный маленький раб: вчера он выпил полбутылки тэча. Мой сосед привязал его и наказывает. Я не хочу, чтобы он кричал, пока вы здесь.

Вечером следующего дня я снова пошел бродить вокруг этого дома. Я слышал все те же стоны, но еще через день все уже было тихо. Я узнал стороной, что маленький невольник не вынес «курбаша» и погребен во дворе того дома, где жил сосед очаровательного образованного молодого абиссинца, воспитанного французскими миссионерами.

Работорговец Саид

Нам больше нечего было делать ни в Хараре, ни даже вообще в Абиссинии, и тогда я вспомнил о работорговце Саиде.

Разыскать Саида было нелегким делом: европейцы его не знали, туземцам же ничего не говорило одно его имя без указания на профессию, а называть профессию я остерегался по вполне понятным причинам.

Но вот однажды утром, когда мы с Ляблящем в Пейре отправлялись верхом на мулах из Хараре в Харар завтракать к доктору Жукля, мы встретили на дороге красивого араба также верхом на муле. Мы повстречались в таком месте, где дорога раздваивается и уходит в чащу, и мне показалось, что араб нарочито выбрал этот укромный уголок для встречи с нами. Он подошел к нам с глубокими поклонами. Так как Монфрея с нами не было, нам пришлось для перевода прибегнуть к услугам нашего боя-сомалийца, который свободно говорил и по-арабски и по-французски.

— Его имя Саид, — сказал переводчик. — Он получил письмо из Аддис-Абебы от старого Азиза. Саид уезжает и пришел приветствовать вас.

Это было очень неожиданно: тот, которого мы так безуспешно разыскивали, сам пришел к нам. Правда, в этой стране появление каждого нового белого становится известно на десятки километров кругом, и нас было легко найти. Саид глядел на нас и улыбался, скаля белые зубы. Он носил короткую бороду, придававшую ему мужественный вид. На боку, на пояске, который туго стягивал стройную талию, сверкала рукоятка кинжала. Никогда бы я его не принял за работорговца.

— Надолго он уезжает? — спросил я переводчика.

Саид колебался несколько секунд и что-то сказал сомалийцу вполголоса. Любезность исчезла с его лица и сменилась внезапной и непонятной жесткостью.

— Он спрашивает боя, умеет ли он молчать, — шепнул мне доктор Пейре, немного понимавший по-арабски.

Тогда я попросил доктора предложить Саиду свои услуги в качестве переводчика. Араб снова сделал любезное лицо, сомалиец отошел в сторону, и Саид сказал:

— Я собираюсь в путь по делу, которое может вас заинтересовать, если будет милость аллаха. Мне писал о вас мой друг Азиз. Не пожелаете ли вы следовать за мной?

— Далеко?

— Два дня.

— Когда?

— Сейчас.

Мы без колебаний согласились: не следовало упускать такой исключительный случай. Мы отправили сомалийца с запиской к доктору Жукля и сказали Саиду:

— Веди нас!

Я уверен, что мы правильно поступили, сразу выказав ему доверие: он стал верить и нам.

Солнце жгло во-всю. Переход был труден, — мы шли по диким местам, по узким тропинкам, вьющимся в горах, каждую минуту перед нами открывались пропасти. Иногда из чащи выбегала газель или показывался шакал. Звери здесь так не привыкли видеть человека, что спокойно стояли и провожали нас глазами. Солнце приближалось к горизонту, когда мы поравнялись с громадным плоским камнем, на который падала тень фиговой пальмы.

— Скоро остановка, — сказал Саид. — Вот камень. Под ним погребен большой начальник. Говорят, из почтения к нему в лунные ночи сюда приходит громадный лев и спит на этом камне.

Вскоре показалась небольшая деревушка, всего несколько соломенных хижин. Это был первый населенный пункт на нашем пути. Женщины, — судя по типу, из племени гала, — загоняли стадо коз. Одну козу зарезали нам на обед, и лишь за едой доселе молчавший Саид об'яснил нам цель своего путешествия.

— В этой стране, — сказал он, — одни только арабы занимаются торговлей невольниками. Абиссинцы слишком ленивы и не любят покидать свою страну. А мы, жители Геджаса и Иемена, много путешествуем. Отцы наши ходили далеко, в Европу, даже в Индию, и у нас это осталось в крови. Было время, когда наша торговля была легким делом. Старый Азиз знал это время. Когда абиссинцы покоряли провинции, примыкающие к Судану, можно было целыми толпами угонять мужчин, женщин и детей и продавать их как угодно. Купцы гнали тогда большие караваны в Аравию. А теперь времена стали хуже. Провинции, поставлявшие рабов, уже завоеваны, и племя невольников вымирает. Они исчезают целыми деревнями. Ну, а затем — законы! Надо быть осторожным, надо проходить через пустыни, гнать гурты украдкой, платить высокие подати и налоги. Конечно, от этого повышается цена, и мы лучше зарабатывали, но все же много стало хлопот!

Внезапно выражение его лица изменилось: брови нахмурились.

— Но горе тому, сказал он, — кто пытается оставить караван в пути. У меня есть верные люди, которые хорошо стреляют.

Воцарилось молчание. Саид закурил нарғиле. Мы стали приставать к нему с расспросами, и он сказал:

— Здесь, в Абиссинии, нет таких базаров, где невольники идут с торгов. Их продают по соглашению. Но есть питомники, где содержатся дети рабов. Лично я поставляю только в Аравию. Я отправляю один-два ка-

равана в год по пятнадцать голов каждый. При нынешних ценах, если только рабы все дойдут живыми, это даст возможность жить безбедно. А добываю я их двумя способами: Когда деревня слишком бедна или ее вождь слишком жаден, то, чтоб не платить налогов, он обращается ко мне или к другому торговцу. Я вношу деньги на уплату налогов и беру людей в рабство. Есть еще способ. Это — смелые охотники. Когда у меня набирается достаточное количество рабов, я их соединяю в загоны.

— В загоны?—удивленно воскликнул доктор.

— Вы завтра увидите! Мы туда и едем, — отвечал Саид.

Он молча докурил свое наргиле, растянулся на земле и запел. Мы заснули раньше его: мы еще не привыкли делать переходы под солнцем.

З а г о н

На рассвете Саид посоветовал нам получше напиться, потому что до вечера, сказал он, мы не увидим воды. Затем мы оседлали мулов и отправились в путь.

Несмотря на все наши усилия, нам не удалось вызвать араба на дальнейший разговор: он молчал всю дорогу. Лишь после полудня, когда солнце еще жгло во всю мочь, а дорога делалась все труднее и труднее, Саид обернулся к нам и бросил через плечо:

— Скоро приедем.

Спустя три часа наши мулы подошли к крутому холму, и мы увидели довольно большое село. Даже если бы Саид ни о чем не предупреждал нас накануне, то и тогда вид этого селения показался бы нам подозрительным. Оно нисколько не было похоже на те деревни, которые мы видели в Абиссинии. Это был скорее укрепленный пункт, в котором каменные дома тесно прижимались один к другому.

— Деревня племени арагуба, — сказал Саид, соскакивая с мула и ведя его к колодцу, который виднелся шагах в ста от первых домов.

Покуда животные пили, к Саиду снова вернулась разговорчивость, и он очень охотно стал отвечать на наши вопросы.

— Арагуба, — сказал он, — ветвь великого народа гала. Они самые умные, самые гордые, самые отважные. Они всегда занимались торговлей невольниками. Сами-то они, впрочем, никогда не покупают и не продают, но у них в деревнях мы, торговцы, обыкновенно держим товар до отправки каравана. Мы знаем, что здесь мы можем спокойно оставлять наше имущество,— конечно, за плату. По всей стране раскиданы эти деревни арагуба, где мы можем делать тайные привалы, покуда не доберемся до пустыни, где нам уже некого бояться. Было время, когда племя арагуба только и жило, что обслуживание работорговцев.

Мы вступили в узенькие кривые улички, вдоль которых лепились слепые домишки, получавшие свет только через двери. Село казалось пустынным, — ни на улицах, ни в домах не было ни души. Мы поняли причину этой странной пустоты лишь когда взобрались на вершину холма: на другом склоне собралось, повидимому, все население, — там цепами молотили дурру.

— Это ваши рабы? — спросили мы Саида.

Он чуть-чуть улыбнулся и сказал:

— Не надо повсюду видеть рабов! Это — свободные арагуба из деревни, а мои рабы отдыхают. Они проделали большой путь и им предстоит еще более дальний. Я хочу, чтобы они дошли до берега. Пойдемте, я вам их покажу.

Мы вошли за Саидом в один из дворов. На земле валялось несколько досок. Саид поднял их, и мы увидели яму. На дне спали четыре черных женщины. Они, повидимому, были совершенно разбиты от усталости, и даже не открыли глаз. Саид опустил доски на место.

В этот момент открылась дверь, и из дома вышел человек свирепого вида, с ружьем в руке. Заметив Саида, он низко поклонился ему, — это был его охранник. В следующем дворе тоже оказалась яма, и там мы увидели шесть спящих рабов. В следующем мы нашли троих.

— Здесь при каждом доме есть яма для рабов, — сказал Саид. — Это удобно для нас и для рабов тоже. Так они лучше отдыхают, потому что в яме мы можем их держать не связанными.

К нам подошли трое вооруженных. Саид долго беседовал с ними, а затем сказал нам:

— Караван тронется сегодня вечером, ведь они совершают переходы только по ночам. А я выеду им вдогонку послезавтра. У меня здесь есть еще кое-какое дельце.

Он остановился, подумал с минутку и сказал:

— Если это все вас интересует и вы не боитесь усталости, вы можете увидеть охоту Селима.

Саид громко крикнул, и откуда-то появилось двое полуголых людей. Один был стар, но еще крепок и бодро держался на своих тонких и сухих ногах. Второй был еще совсем молод и гибкостью мускулов и необычайным выражением лица был похож на хищного зверя.

— Селим! — сказал Саид, представляя его.

Он что-то сказал им, и внезапно они оба поцеловали нам руки.

(Окончание в следующей книжке)

ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕАНЕ

Старомодная морская повесть Ст. ЛИКОКА

Иллюстрации М. ГЕТМАНСКОГО

Стифен Ликок, известный английский юморист. Он не профессионал-писатель, он... профессор политической экономии в Монреальском университете (Канада). И может быть именно поэтому его юмор сочен и свеж. Порою в своих рассказах он поднимается до сатиры. «Затерянный в океане» пародия на морских писателей, произведения которых усиленно рекомендуются для чтения молодежи Западной Европы и Америки в целях «расширения кругозора и поднятия геройского духа». К сожалению, и у нас кое-кто разделяет этот взгляд, считая полезным для наших ребят «увлекательное» чтение «классиков моря и приключений». Поэтому и для нас пародия Ликока не теряет своей остроты.

В АВГУСТЕ 1867 г. я впервые вступил на борт «Сауси-Салли», лежавшей в Гревезенском доме, чтобы заместить вакансию второго помощника капитана.

Позвольте сперва сказать о себе пару слов.

Я был высоким, красивым молодым парнем, крепкого, сильного телосложения, бронзовым от солнца и луны (а в некоторых местах с красивыми пятнышками от действия звезд), с прекрасным лицом, на котором честность, развитие и исключительные умственные способности сочетались с простотой, скромностью и прочими добродетелями.

Вступив на палубу, я не мог удержаться от чувства восторга, увидев отражение своих мужественных черт моряка в бочонке с водой, стоящем подле мачты, и позже я с трудом сдержал ощущение благоговения, когда легкая рябь испарила их отражение в мутной воде.

— Приветствую вас на борту корабля, мистер Блоухард, — воскликнул капитан Билдж, выходя из-за огромного бинокля и пожимая мне руку сквозь кубрик.

Я увидел перед собою человека, похожего на моряка, лет от тридцати до шестидесяти, гладко выбритого, кроме длинной бороды и густых усов, могучего сложения, с

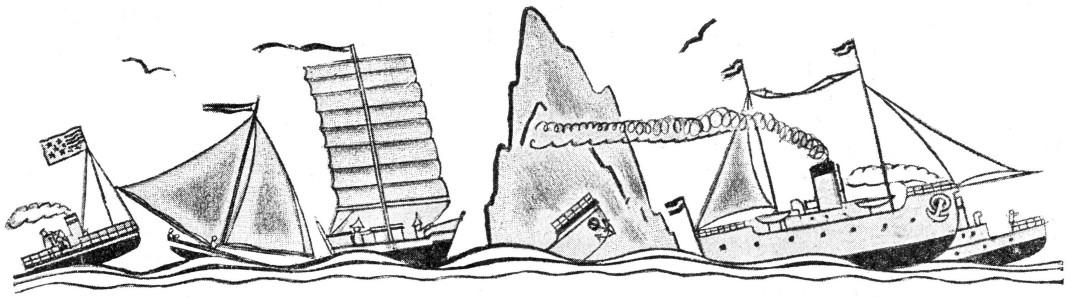
Капитан Билдж.

военной выправкой, в широченных шароварах, на заду которых хватило бы места написать полную историю британского флота.

Около него стояли первый и третий помощники, оба тихие, незначительные люди, плохо сложенные, взиравшие на капитана Билджа, как мне показалось, с плохо скрываемым ужасом в глазах.

Корабль был почти готов к отплытию. На его деке происходила та суета и суматоха, что так дороги сердцу природного моряка. Матросы деловито шныряли по вантам, подвешивая с подветренной стороны буршприты, подтягивая бом-брам-бум-кливера и распуская марселя по ветру и наоборот.

Капитан Билдж с рупором у рта покрикивал на матросов на своем грубоватом морском диалекте:



По Ламаншу ползут китайские джонки, военные суда и айсберги.

— Прошу вас, ради всего святого, не вылезайте из кожи, джентльмены! Прошу вас, помните, что у нас еще уйма времени. Умоляю вас не оставаться долго на солнце! Эй, Джонс, выше не лезьте; я боюсь за вас— сорветесь! Осторожно с канатом, Вильямс, осторожно! Канат смоленый, и вы запачкаете себе руки.

Я стоял, облокотившись на перила, и думал, — да, дорогой читатель, — думал о моей матушке. Я надеюсь, что вы не будете меня осуждать за это. Когда на душе мрачно, я всегда обо что-нибудь облокачиваюсь и начинаю думать о своей матушке. Если же на душе не только мрак, но и беспросветное отчаяние, я стою на одной ноге и думаю об отце. Помогает замечательно. После такого раздумья я могу смотреть смело в лицо всякой опасности.

Думал ли я также о другом существе, помоложе матушки и покрасивее батюшки? Да, думал.

— Потерпи, радость моя,—сказал я, когда она спрятала свое раскрасневшееся личико у меня подмышкой и с застенчивостью свойственной девушкам, рыла землю левой ножкой. — Потерпи, через пять лет окончится мое плавание, а еще через три года я вернусь домой и привезу достаточно денег, чтобы купить подержанную сеть и обосноваться на берегу.

Ах! Увы!

Тем временем все приготовления на корабле были закончены. Мачты стройно стали на свои места, паруса были заплатаны, и матросы с топорами в руках деловито готовились к абордажу.

— Готовы? — спросил капитан.

— Есть, сэр

— Тогда выкидывайте якорь на берег, пошлите плотника с пилой отцепить корабль от дна и разбейте несколько склянок.

«Выкидывайте якорь!». Последняя церемония перед отплытием! Как часто в своих странствиях наблюдал я, как матросы с торжественными лицами, вот-вот готовые покинуть отчий дом, наблюдают, как медленно наматывается цепь якоря и звонко бьются склянки всех размеров.

На следующее утро со свежим попутным ветром мы живо завернули за угол Англии и весело поплыли по Ламаншу.

Я не знаю лучшего зрелища, чем Ламанш, для тех, кто никогда его не видел. Это столбовая дорога всего мира. Туда и сюда снуют корабли всех наций: голландские, шотландские, венецуэльские и даже американские.

Там и сям ползут медленные китайские джонки. Военные суда, моторные яхты, айсберги и осколки разбитых кораблей снуют повсюду. Если же еще прибавить, что невероятной густоты туман не позволял видеть ровно ничего, читатель может себе представить все величие этого зрелища.

***

Уже три дня мы плыли в открытом море. Моя первая морская болезнь утихла, и я меньше думал о батюшке.

На третье утро капитан Билдж спустился ко мне в каюту.

— Мистер Блоухард, — сказал он, — я должен просить вас отныне нести двойную вахту.

— Что случилось? — спросил я.

— Два других помощника свалились за борт, — мрачно сказал он, избегая встречаться со мной взглядом.

Я ограничился тем, что ответил:

— Очень хорошо, сэр.

Но не мог не подумать о странном совпадении, что оба помощника упали за борт в одну и ту же ночь.

Да, здесь крылась тайна!

Через два дня капитан вышел к завтраку с тем же смущением во взоре.

— Что-нибудь случилось, сэр? — спросил я.

— Да, — ответил он, стараясь казаться оживленным и нервно вертя вареное яйцо с такой силой, что переломил его ровно пополам. — К сожалению, мы потеряли подзорную трубу.

— Подзорную трубу?

— Да, — продолжал капитан немного спокойнее, — она упала за борт. Я сам отчасти в этом виноват. Было раннее утро,

Я взял подзорную трубу, чтобы посмотреть на айсберг, и, — совершенно случайно, уверяю вас, — уронил ее за борт.

— Капитан Билдж, — спросил я, — предприняли ли вы что-нибдь, чтобы разыскать ее?

— Пока еще нет, — смущенно ответил он.

Я пристально посмотрел на него, но ничего не сказал.

Прошло десять дней. Тайна сгущалась. В четверг исчезли двое вахтенных со старборда. В пятницу пропал помощник плотника. А в ночь на воскресенье случилось нечто хотя и ничтожное по существу, но позволившее мне найти ключ к тайне.

Была полночь. Я стоял у рулевого колеса, когда увидел, что из темноты вышел капитан Блидж, таща за заднюю ногу юнгу. Юнга был славным мальчиком, веселым и ласковым, которого я очень полюбил. Поэтому я с особым интересом стал наблюдать, что с ним будет делать капитан. Подойдя к борту, капитан осторожно омотрелся кругом и бросил юнгу за борт. На мгновенье голова юноши мелькнула в фосфорически светящихся волнах. Капитан запустил в него сапогом, глубоко вздохнул и пошел назад.

Так вот в чем разгадка тайны! Капитан сам выбрасывал команду за борт!

На следующее утро мы, как всегда, встретились за завтраком.

— Бедный маленький Вильямс упал за борт, — сказал капитан, отрезал кусок соленой свинины и впился в него зубами.

— Капитан, — сказал я, сильно волнуясь и втыкая нож в морской сухарь с такой силой, что сухарь пискнул. — Вы сами выкинули его за борт!

— Правильно, — ответил капитан, вдруг успокоившись, — я всех их выкинул за борт и намерен сделать то же с остальными. Слушайте, Блоухард, вы молоды, горды и вам можно довериться. Я раскрою вам свою тайну.

Совершенно успокоившийся, он подошел к шкафу, порылся в нем и вытащил порванный кусок пергамента, который разложил на столе. Это был не то план, не то карта. В центре ее был кружок. В центре кружка— точка и буква «К»; на одной стороне карты буква «С», а на противоположной буква «Ю».

— Что это такое? — спросил я.

— Неужели не понимаете? — ответил капитан Билдж. — Это необитаемый остров.

— Ага! — меня осенила высокая интуиция, — значит «С» это север, «Ю» это юг.

— Блоухард!—воскликнул капитан, стукнув кулаком по столу с такой силой, что огромный каравай морского хлеба подпрыгнул раза три-четыре, — вы гениальный человек! Это никогда не приходило мне в голову. «С» — север. Замечательно!

— А буква «К»?

— Клад, зарытый клад, — ответил капитан и, перевернув карту, прочел на обороте: — «Буква «К» означает место, где в песке закопан клад; он состоит из полумиллиона испанских долларов и лежит в коричневом кожаном чемодане».

— А где этот остров? — спросил я, охваченный странным волнением.

— Вот этого-то я и не знаю, — ответил капитан. — Я буду плавать вдоль параллелей широты, пока не найду его.

— А пока?

— А пока наша первая задача—уменьшить по мере сил число команды, чтобы в дележе принимало участие как можно меньше людей. Ну-с, как же,—продолжал он с таким взрывом искренности, который заставил меня тут же немедленно полюбить его до гробовой доски, — хотите действовать совместно со мной? Мы всех их повыкинем вон, оставив только повара, выкопаем сокровища и будем богаты на всю жизнь.

Читатель, осудишь ли ты меня за то, что я сказал «да»? Я был молод, горяч, горд, полон блестящих надежд и юношеского энтузиазма.

— Капитан Билдж, — сказал я, пожимая его руку, — я ваш.

— Хорошо, — ответил он, — а теперь идите в кубрик и постарайтесь разузнать, что думают матросы обо всем происходящем.

Я отправился в кубрик, где жили матросы. Это большая комната в носовой части судна, всего с одним подержанным персидским ковром на полу, несколькими простыми мягкими креслами, письменными столиками, плевательницами из яшмы и медными кроватками с голубыми и зелеными пологами. Было воскресное утро, матросы не торопились одеваться и сидели в ночных пиджамах и халатах.

Когда я вошел, они встали и раскланялись.

— Сэр, — сказал Томпкинс, помощник боцмана, — я думаю, что мой долг повелевает сообщить вам, что среди людей царит некоторое недовольство.

Кое-кто из матросов поддержал его.

— Им не нравится то обстоятельство, что люди падают за

Капитан тащил за ногу юнгу.

борт, — продолжал он, и в голосе его прозвучало плохо сдерживаемое волнение. — Это совершенно абсурдно, сэр, и, если вы мне позволите так выразиться, люди не совсем довольны этим.

— Томпкинс, — строго сказал я, — вы должны понимать, что мое положение запрещает мне выслушивать подобные бунтовщические заявления.

Я вернулся к капитану.

— Я думаю, что матросы затевают бунт, — доложил я.

— Прекрасно, — ответил капитан, потирая руки, — они смогут бунтовать, сколько их душе угодно, и, кроме того, — задумчиво прибавил он, выглядывая в широкий старинный иллюминатор, за которым плескались могучие волны южной Атлантики, — я ожидаю встречи с пиратами, после которой не многие из них уцелеют. А пока, — он позвонил юнге, — будь добр, мальчик, попроси сюда мистера Томпкинса.

— Томпкинс, — сказал капитан, увидев входящего помощника боцмана, — будьте так добры, станьте на сундук, просуньте голову через иллюминатор и скажите мне, что вы думаете о погоде.

— Сию минуту, сэр, — ответил тот с такой готовностью, что мы обменялись безмолвными улыбками.

Томпкинс стал на сундук и высунул наружу голову и плечи.

Взяв каждый по одной ноге, мы просунули его дальше. Вскоре мы услышали звук падения тела в море.

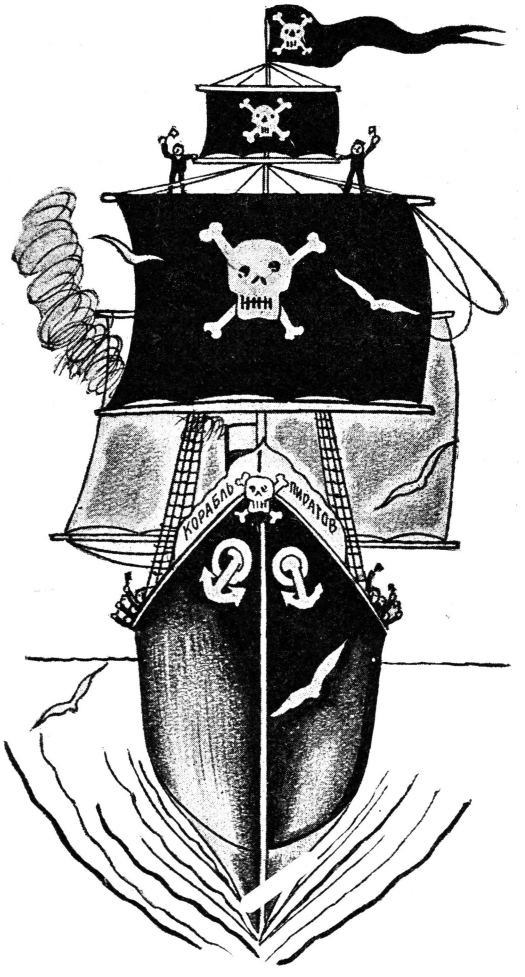
— Томпкинс был очень легкий, — сказал капитан. — Выбрасывать его было сплошное удовольствие. Да, — продолжал он, — если они взбунтуются, это будет нам на руку. Рано или поздно, они все равно взбунтуются; таков морской обычай. А я не сделаю ни одного шага, чтобы удержать их, пока мы не встретимся с пиратами. Я ожидаю их встретить именно в этих широтах. А пока, Блоухард, — добавил он, поднимаясь, — если вы сумеете выбрасывать за борт по одному, по два матроса в неделю, вы меня премного обяжете.

Через три дня мы обогнули мыс Доброй Надежды и вошли в черные воды Индийского океана.

На четвертый день показался пиратский корабль. Читатель, я не знаю, видел ли ты когда-нибудь пиратский корабль? Вид его мог поразить самое нечуткое сердце. Весь корабль снаружи был выкрашен в черное, черный флаг развевался на верхушке мачты, паруса были черные, и команда корабля, одетая во все черное, прогуливалась по палубе, держась за руки. Слова «Корабль Пиратов» были написаны белыми буквами на корме. При виде его наша команда смутилась. При таком зрелище смутилась бы любая устрица.

Корабли поровнялись друг с другом. Ремнями от портпледов и веревками от гамаков их крепко привязали друг к другу, и с борта на борт перекинули широкие удобные мостики. В одно мгновенье волна пиратов залила нашу палубу. Они бежали, выпучив глаза, скрежеща зубами и потрясая острыми топорами.

Начался бой. Он продолжался два часа с пятнадцатиминутным перерывом на завтрак. Бились жестоко. Люди сплетались друг с другом, били друг друга сзади, ударяли друг друга даже по лицу, а иногда, совершенно теряя выдержку, пробовали кусаться. Я заметил одного гигантского парня, сокрушающего врагов связанными в узел полотенцем. Он крушил людей направо и налево, пока капитан Билдж не ринулся на него и одним ударом банановой кожи по лицу не поверг его замертво.



Пиратский корабль.

Через два часа, по обоюдному соглашению, битва была окончена вничью. Одна

сторона имела семьдесят два штрафных, другая семьдесят один с половиной.

Корабли были развязаны, команды по три раза крикнули: «гип, гип, ура!», и каждый отправился своей дорогой.

— Ну-с, — сказал мне капитан тихонько, — посмотрим, сколько человек из команды в достаточной степени убито, и побросаем их за борт.

Он спустился вниз. Через несколько минут вернулся, смертельно бледный.

— Блоухард, — сказал он, — корабль тонет. Один из пиратов (досадный случай, конечно, я никого не обвиняю) пробил дыру в трюме. Слышите, как плещется вода?

Я прислушался: действительно был слышен плеск воды.

Матросы бросились к помпам и заработали с такой энергией, какую проявляют только в то время, когда тонет корабль.

В шесть часов вечера в трюме было 12 миллиметров воды, в полночь — 19 миллиметров, утром, после ночи, проведенной в напряженной работе, — 22 миллиметра.

На следующий день, в полдень вода поднялась до 23 миллиметров, а к ночи воды в трюме было 24 миллиметра. Положение становилось безнадежным.

Ночью капитан вызвал меня в свою каюту. Перед ним лежала таблица логарифмов, и по всей каюте валялись клочки бумаги с беглыми вычислениями.

— Корабль тонет, Блоухард, — сказал он. — Я могу доказать это. Понадобится ли на это пять месяцев или шесть лет — неважно. Факт тот, что он тонет. Нам не остается ничего, как покинуть его.

Ночью, когда вся команда надрывалась у насосов, мы с капитаном сделали плот.

Никем не замеченные, мы срубили мачты, перерубили их пополам, положили крест-накрест и накрепко связали шнурами от ботинок.

Поспешно втащили на плот пару ящиков с консервами и напитками, секстант, хронометр, газомер, велосипедный насос и несколько других научных инструментов. Затем, уловив удобное положение корабля, спустили плот и под покровом темной тропической ночи отплыли от обреченного судна.

Восход солнца застал нас посреди Индийского океана. Мы казались не больше точки (.).

Утром, одевшись и побрившись, мы вскрыли ящики с едой и питьем.

И тут-то мы поняли весь ужас своего положения. Одну за другой вытаскивал капитан квадратные синие коробки с тушеным мясом. Их было пятьдесят две.

С искаженными лицами мы всматривались в них. Одна мысль тревожила нас. Когда все банки были вынуты, капитан воздел руки к небу.

— Нож для вскрывания консервов! — воскликнул он. — Где нам взять нож?

И упал без чувств.

Тогда трясущимися руками я вскрыл ящик с бутылками. Одну за другой вынимал я бутылки с патентованными автоматическими пробками. Вынув все пятьдесят две бутылки, я в ужасе воскликнул:

— Штопор! о, небо! Что мы будем делать без штопора? — и упал без чувств рядом с капитаном.

Когда мы очнулись, то увидели, что представляем собой ту же точку (.) на океанской глади, даже еще меньших размеров, чем прежде.

Над нами сияло медное небо тропиков. Тяжелые свинцовые волны лизали наш плот. Вокруг нас были разбросаны жестянки с консервами и бутылки с пивом. Мы старались вскрыть жестянки пальцами, с риском навсегда изуродовать банки, мы били их с край плота. Мы старались сбить пробки с бутылок, ударяя их о жестянки. Все было тщетно.

День за днем проводили мы в горьком молчании, истомленные голодом, без чтения, без табака и даже без тем для разговора.

На десятый день капитан нарушил молчание.

— Приготовьте жребий, Блоухард, — заявил он. — Больше нам ничего не остается делать.

— Да, — мрачно ответил я, — мы худеем с каждым днем.

Потом, подавленные мыслью о людоедстве, мы тянули жребий.

Я приготовил два жребия и протянул капитану. Он вытащил более длинный.

— Что это значит? — вскричал он, колеблясь между надеждой и отчаянием. — Я выиграл?

— Нет, Билдж, вы проиграли, — твердо заявил я.

***

Я не буду рассказывать о последовавших днях, — долгих, покойных днях ленивой драмы на плоту, во время которых я постепенно восстанавливал силы организма, изнуренного голодовкой. Это были дни, дорогой читатель, полные глубокой тишины и мирного отдыха, и сейчас я не могу вспомнить их без слез в память того славного человека, который жизнью своей создал мне это благополучие.

На пятый день меня пробудили от глубокого сна глухие звуки: это мой плот ударился о берег. Вероятно я слишком много поел, заснул и не заметил приближения земли.

Передо мной лежал остров, круглая форма и низкие песчаные берега которого вызывали какие-то смутные воспоминания.

— Остров сокровищ! — вскричал я. — Наконец-то мой героизм увенчался успехом!

С лихорадочной поспешностью бросился я искать середину острова. Ужасное зрелище пригвоздило меня к месту. Глубокая

Остров стал моим домом.

яма в песке, пустой чемодан и на доске, глубоко зарывшейся в песок, надпись: «Сауси-Салли», октябрь 1867».

Увы! Несчастные, покинутые нами, матросы починили корабль, направили его к острову, о существовании которого, повидимому узнали из карты, которую мы по рассеянности оставили на столе в каюте, и похитили у меня и несчастного Билджа наши столь тяжким трудом заработанные сокровища.

Разбитый сознанием человеческой неблагодарности, я упал на песок.

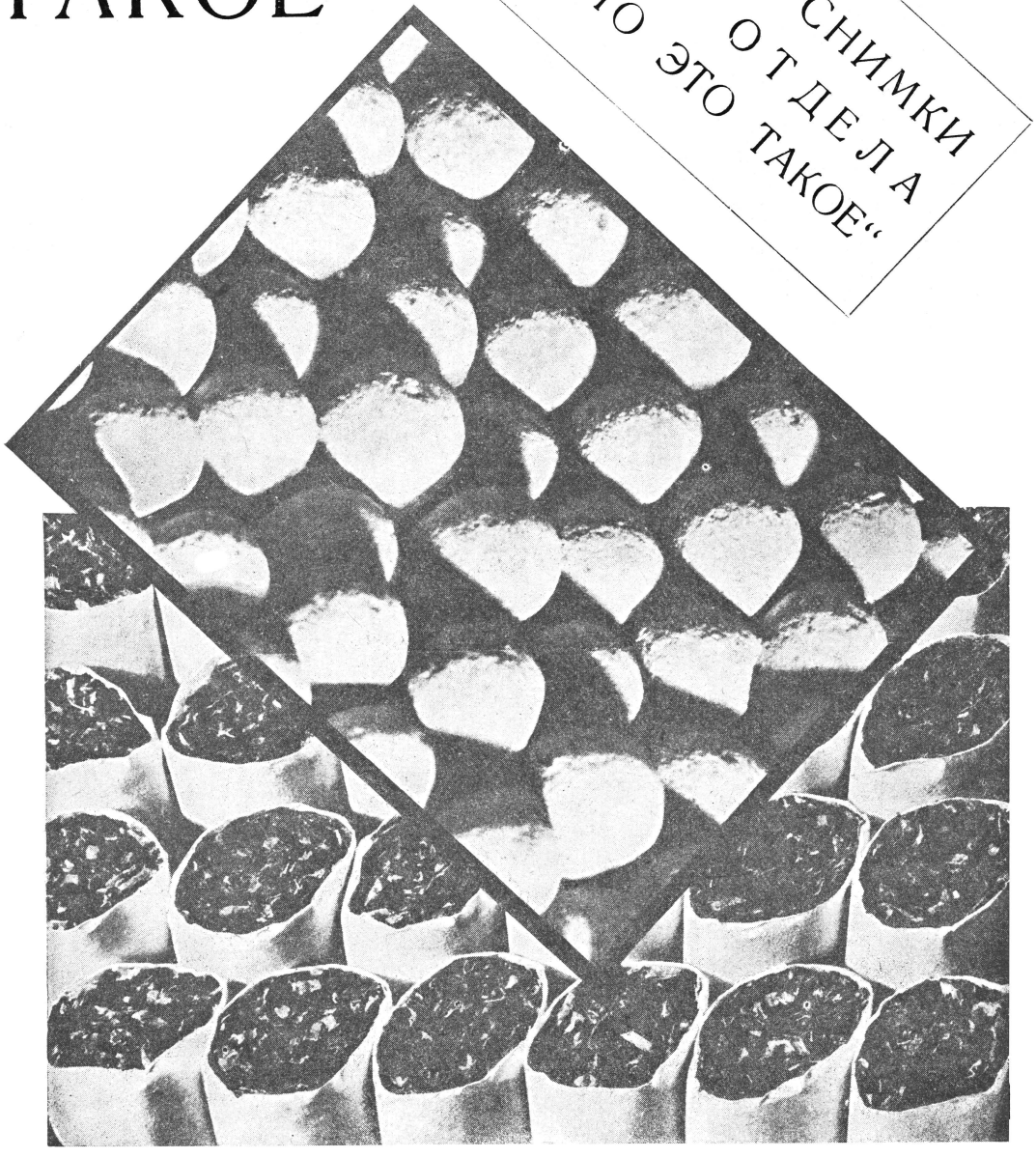
Остров стал моим домом. Там вел я ничтожное существование, питаясь песком и гравием и одеваясь в волокна кактусов.

Прошли года. Однообразная нездоровая пища (песок и тина) подточила мой могучий организм. Я заболел. Я умер. Я похоронил свое тело в песке.

Пусть и другие писатели морских романов последуют моему примеру.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

ШЛИТЕ СНИМКИ ДЛЯ ОТДЕЛА „ЧТО ЭТО ТАКОЕ“



Спички (сверху) и папиросы.

Матовые электролампы.

Фото ГРЮНТАЛЯ

Радио-конденсаторы.

Фото ГРЮНТАЛЯ

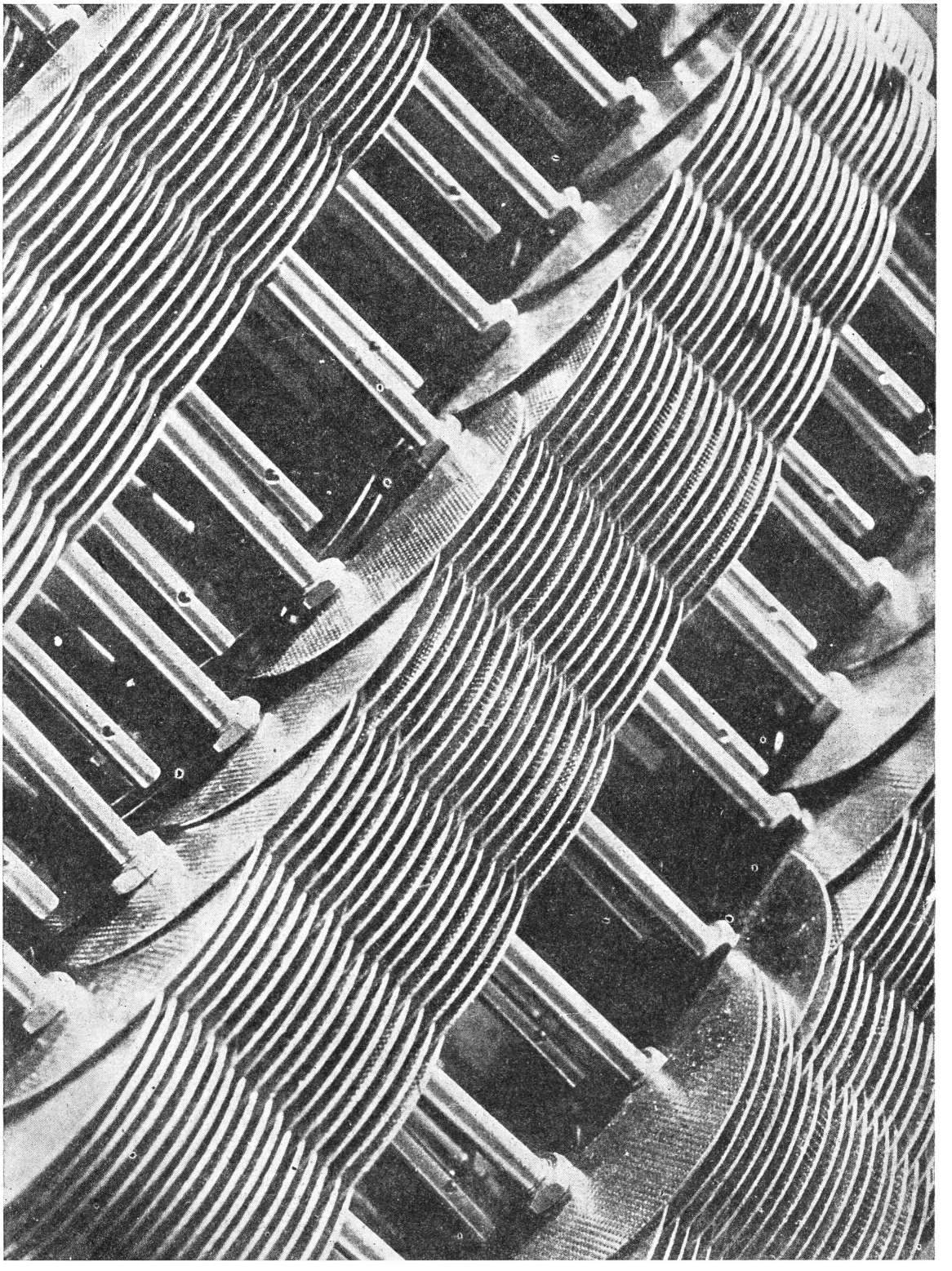


Фото ГРЮНТАЛЯ.

Радио-детекторы.

ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО

В ГОРАХ КУКИСВУМЧОРРА

ЗА ПОЛЯРНЫМ кругом, в Хибинской тундре Кольского полуострова высятся горные кряжи Кукисвумчорра.

Здесь — синие озера, обрывистые голые склоны, отвесные ледники и зеленоватые реки, стекающие по серым пятнистым голышам. Здесь — суровая и длинная полярная зима, метели, вьюга и 45 дней беспрерывной полярной ночи.

Еще два года назад тут жило только 10 лопарских семей: они ловили рыбу, пасли оленей и собирали ягоды. К концу же пятилетки на месте их курных изб прочно встанет новый двадцатитысячный город и промышленный комбинат.

О Хибинах узнали в 1920 г., когда советская научная экспедиция появилась здесь тотчас же после ухода англичан.

Без продовольствия и обуви, подвязав на ноги мешки, чтобы не скользить по голым склонам Кукисвумчорра, по оленьим тропкам, часто совершенно без карты, пробиралась экспедиция по этой неисследованной земле, производя разнообразные наблюдения, исправляя карту и собирая коллекции минералов. По ночам температура спускалась до 10° ниже нуля, а днем доводили до исступления рои комаров и мошкары, от которых не спасали ни густые сетки, ни перчатки.

Так, холодным весенним утром 1921 г. на берегу быстрого потока, между двумя отрогами Кукисвумчорра, экспедиция первый раз наткнулась на светло-зеленую глыбу. По этому поводу в дневнике экспедиции было скромно и коротко сказано:

«найдены первые глыбы апатита».

А в Ленинграде после обработки материалов экспедиции против графы «Количество запасов» про апатит Хибинской тундры машинистка напечатала:

«отдельные глыбы».

Прошло два года. Исследования продолжаются. На плато Расвумчорра обнаружено уже целое поле апатитовых глыб, и в той же графе, против 1923 г., отмечают:

«большое количество».

Прошло еще три года. Экспедиция продолжает карабкаться по голым склонам Кукисвумчорра, и против 1926 г., все в той же графе, стоит:

3 млн. тонн.

Новые исследования, и против 1927 г. уже двузначная цифра:

18 млн. тонн.

Следующий 1928 г. дает трехзначную цифру:

140 млн. тонн.

А 1929 г. увеличивает эту цифру до

500 млн. тонн.

Начало же 1930 г. вписывает все в ту же графу:

1 500 млн. тонн.

и в скобках указывает:

«Величайшие в мире».

Так найден был громадный клад зеленого апатита на склонах полярного Кукисвумчорра.

К концу пятилетки здесь вырастет полярный город «Хибины» — город «зеленого золота» Мурмана.

Стальными челюстями будут вгрызаться экскаваторы в голые склоны — в эту поразительную сокровищницу, где лежат миллиарды тонн зеленой апатитовой руды. Ажурные транспортеры погрузят его в вагоны железной дороги, которая вьется по долине Жемчужной реки, от рудников к новой станции Апатиты на Мурманской железной дороге.

Отсюда тысячи вагонов повезут сияющую зеленую руду на Мурманск, чтобы с высокой эстакады порта высыпать ее в трюмы иностранных пароходов, пришедших за ней из Англии, Германии и скандинавских стран. Но главная масса зеленого апатита пойдет на юг, где на р. Ниве, впадающей в Белое море, около Кандалакши, на Ковде, Ками и Выге будут заложены мощные гидроэлектрические станции для переработки апатитовой руды.

Здесь целые комбинаты будут заняты апатитом.

В громадных корпусах удобрительного завода осколки Кукисвумчорра превратятся в питательные сельскохозяйственные удобрения.

В этом основная ценность апатита, потому что апатит — сплошное удобрение, и в последний год пятилетки один миллион тонн его пойдет отсюда на юг, на поля совхозов, чтобы дать им силу рожать полные, богатые урожаи.

Другие заводы будущего Хибинского комбината займутся иными превращениями зеленых глыб апатита.

Одни из них дадут возможность получить из апатита вещество, предохраняющее железо от ржавчины. Это позволит нам в целом ряде производств, и особенно в автомобильной технике, заменить редкую и до-

рогую медь более дешевой нержавеющей сталью.

Другие из хибинской руды получат особое вещество, которое не даром названо нефелином, что значит по-гречески «туман», «облако»: мутными, серыми, полупрозрачными камнями лежит он в безграничном количестве в хибинских массивах.

Нефелин поспорит с апатитом по своей ценности в народном хозяйстве.

Освобожденный от окрашивающих его примесей железа, нефелин прежде всего даст прекрасный материал для плавки из него стекла, вдвое более дешевого, небьющегося «стекла жизни», пропускающего в значительном количестве ультрафиолетовые лучи.

В других цехах завода цветные жилы нефелина дадут глазурь для эмалей и разноцветное стекло для украшения домов и мебели.

Отдельный завод займется изготовлением из нефелина синей краски—ультрамарина, что при изготовлении 10 тыс. тонн к концу пятилетки даст нам экономию в несколько миллионов рублей по сравнению с теперешним производством.

Но что самое главное — нефелин даст нам алюминий, этот «металл будущего» — легкий, как сухое дерево, и прочный, как сталь. А это нам особенно важно, потому что единственных до сих пор в СССР запасов алюминиевой руды («бокситов») у Тихвина хватило бы нам лишь на 20 лет.

Так широко развернется Хибинский комбинат, около которого уже сейчас планируется город на 20 тысяч жителей.

Этого мало: зеленые камни Кукисвумчорра совершат революцию в мертвой, болотистой, северной тундре.

Полярные болота, удобренные зеленой апатитовой мукой, дадут лучшие урожаи, чем черноземные почвы Украины: рожь, овес. и ячмень — по 7 тонн с гектара, картофель и корнеплоды — по 50 тонн, клевер, тимофеевка, люцерна — по 7 тонн.

Здесь солома не желтеет, как на юге, и до последнего времени остается зеленой, сохраняя кормовые свойства трав.

Здесь пахота продолжается до января, потому что болота под своими моховыми одеялами бережно сохраняют тепло, запаленное летом.

Здесь, на полярном болоте, нет вечной мерзлоты: она жмется по бокам болот, сковывая каменные гряды и стеклянно-хрустальные массивы Хибин, поднявшиеся своими вершинами на границу вечных снегов.

Здесь полярные сенокосы, огороды и цветники не знают ни засухи, ни гниения от избытка дождей: подушка торфа хранит в себе тепло и необходимое количество влаги, то подбрасывая ее снизу, то пропуская сквозь себя излишек обратно вниз, в болото.

Здесь зыбкая почва болота уже через год после его небольшой осушки сетью мелких канав настолько прочна, что выдерживает на себе не только трактор, но и 15-тонный каток, уплотняющий пашню после ее взрыхления для удобрения и посева.

Так вырастут здесь, на мертвой полярной тундре, в первую очередь Хибинский, Лоухский и Камский совхозы по 10 тыс. гектаров каждый, и на 70 тыс. гектаров раскинутся полярные совхозы по Средней Печоре и Большеземельной тундре, чтобы положить начало великой революции бескрайних полярных пространств нашего Севера, превратив их из мертвой северной пустыни в цветущие советские совхозы.

Эта нарисованная картина будущей тундры — не фантазия и не измышление: все это уже достигнуто на единственном в мире мощном совхозе Мурманской ж. д., раскинувшемся на три миллиона га с его последним годичным оборотом в 50 млн. руб.

Такую революцию совершат на нашем Севере зеленые камни Кукисвумчорра, потому что только с помощью дешевого, обильного и питательного апатитового удобрения сможем мы развернуть эту невиданную в мире, революцию в полярной тундре.

Из книги «Пятилетка в действии» инж. П. Лопатина, знакомого читателям «Борьбы миров» по очерку «Тайна белых гор», который вызвал целый ряд откликов и писем читателей.

«Пятилетка в действии» в форме интересных, живых и очень популярных очерков развертывает картину богатств Союза, вызванных к жизни пятилетним планом строительства.

Книга выходит в издании «Молодой Гвардии».

Борьба Миров

РЕДАКЦИЯ: Москва, Центр, Новая площадь, 6. Изд-во „Молодая Гвардия", 2-й этаж, комн. 30. Телефон 2-35-26. Личный прием авторов ежедневно от 1 до 3 час. дня.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: „Борьба Миров" вместе с 10-дневным журналом „Смена" на год — 7 руб, на 6 мес. — 3 руб. 70, коп. на 3 мес — 1 руб. 95 коп.

ЧИТАЙТЕ СБОРНИК АВИАЦИОННЫХ ОЧЕРКОВ и РАССКАЗОВ

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

Составил Н. С. БОБРОВ. Под ред. начальника ВВС РККА П. И. БАРАНОВА.
164 стр. Цена 90 коп.

Перелет через Памир. Полярные перелеты. Перелет Москва—Нью-Йорк. Рейд «Крыльев Советов». Прыжки на парашютах. Мировой рекорд советской авиатки. Воздушные эпизоды из жизни летающих людей и др.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
Москва, 19, Воздвиженка, 10, изд-во «РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ», в магазины и отделения изд-ва.

ЗАОЧНЫЕ ФОТО-КИНО КУРСЫ

ОДСК

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА БЕСПРЕРЫВНО ПО ОТДЕЛЕНИЯМ:

ФОТО-ОТДЕЛЕНИЕ	КИНО-МЕХАНИКОВ ПЕРЕДВИЖНИКОВ	КИНО-МЕХАНИКОВ СТАЦИОНАРНИКОВ
Срок обуч. 8 мес. Стоимость 15 руб.	Срок обуч. 6 мес. Стоимость 15 руб.	Срок обуч. 8 мес. Стоимость 18 руб.

ОБ ОТКРЫТИИ СЦЕНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БУДЕТ ОБ'ЯВЛЕНО ОСОБО.

Подробные сведения даны в проспекте, который высылается по первому требованию за 10-копеечную марку. Все запросы и деньги нужно посылать по адресу: Москва, 9, Страстной бульвар, 2/42,

ОТДЕЛ ЗАОЧНЫХ КУРСОВ.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ!!

В случае неполучения того или иного номера выписываемого вами журнала или неаккуратной доставки его, НЕМЕДЛЕННО ЖЕ по получении следующего за неполученным (напр., после первого номера получили третий) или запоздавшего номера обратитесь с жалобой в почтовое отделение, обслуживающее район вашего местожительства.

В случае неудовлетворения вашей жалобы, обратитесь туда, где вы первоначально сдали свою подписку, т. е. на почту, в отделение изд-ва, контрагентство печати и т. д. ЛИШЬ в том случае, если и ТУТ ваша жалоба не будет удовлетворена, обратитесь непосредственно в Периодсектор издательства „Молодая Гвардия"—Москва, Новая площадь, 6.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЧНО УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР ВАШЕЙ КВИТАНЦИИ, ГДЕ СДАЛИ ПОДПИСКУ И КАКИЕ НОМЕРА И КАКОГО ЖУРНАЛА ВАМИ НЕ ПОЛУЧЕНЫ.

Изд-во „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

Подпишись

НА НОВОЕ ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНИЕ

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ БРЭМА

В ТРЕХ ТОМАХ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

НА ВСЕ ИЗДАНИЕ — 25 р. Задаток — 2 р. 50 к. При получении первых двух томов уплачивается по 8 р. 50 к., при получении третьего тома — 5 р. 50 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:

Москва, Центр, Новая площадь, 6 Изд-ву «Молодая Гвардия», во все отделения изд-ва, на почту, а также уполномоченным, снабженным соответствующими удостоверениями.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»